

Михаил Козлов

ДОРОГОЙ К СВЕТУ

Литературная запись
Николая Водневского

Михаил Козлов

ДОРОГОЙ К СВЕТУ

Литературная запись
Николая Водневского



Водневский Н., Козлов М.

Дорогой к Свету

Повесть об очень непростой, наполненной драматическими событиями жизни, о тернистой дороге к Свету.

Редактор Елена Пеннер

Корректор Эльвира Цорн

Верстка и дизайн: Андрей Цорн

© «Свет на Востоке», 2006

Изд. № 01.461

ISBN 3-935435-98-3 (Герм.)

ISBN 966-96635-4-9 (Укр.)

Несколько слов о книге

«Жизнь прожить — не поле перейти» — говорит русская пословица. Она, как нельзя лучше, оправдалась в жизни автора этой книги, хотя ему в то время едва перевалило за сорок.

Он прошел через многие тюрьмы и лагеря, через границы и запретные зоны, прежде чем перед ним открылась дорога к Свету.

Об этом читатель прочтет в этой книге.

С благодарностью к Всевышнему за проявленную милость к автору книги, я вместе с ним верю, что каждый читатель, прочитав эту книгу, скажет вместе с нами словами Христа:

«Людам это невозможно, Богу же все возможно»
(Мф. 19:26).

Он спасает каждого верующего.

Николай Водневский

СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ

Поселок Черлы, где я родился в 1922 году, состоял из семи бревенчатых изб, срубленных из крупных сосновых бревен. Они прочно закрепились на берегу небольшой, но богатой рыбой речушки Черлы. Лес окружал поселок с трех сторон, словно кутал его от зимней непогоды. А зимы бывали у нас крепкие, морозные, снежные и скучные.

Зиму я не любил. Как только на полях появлялись проталины и прилетали птицы, нас, детей, в избе нельзя было удержать. Леса, поля и луга были нашим домом.

У меня было два брата и сестра. Особенно я любил старшего брата, Федора. Летом он часто уезжал далеко от села ловить рыбу, брал меня с собой на реку Вятку и говорил как с равным:

— Знаешь, брат, ты молись Богу, чтобы рыба ловилась. Христос однажды научил учеников, как рыбу ловить. Закинули они сети, как Он сказал, и еле вытащили сети от множества рыб.

— Откуда ты это знаешь? — спрашивал я.

— В Священной книге так написано. Сам читал.

Радость нашего детства нарушила коллективизация. Отец — степенный, рассудительный крестьянин — не принял в сердце новые порядки. Пришлось бросить хорошо обработанную землю, хозяйство и переехать на другую сторону реки Вятки, на станцию Кизнер. Там отец

и старший брат работали плотниками в леспромхозе, и мы кое-как сводили концы с концами.

Родители были православными. Особая тяга к святой жизни была у брата Федора. В церковь ходили по праздникам, молились дома перед иконами, гнали самогон, угощали соседей.

Отец любил выпить после бани, с легкого пару. Тогда он становился не в меру разговорчивым, веселел и часто нам говаривал:

— Подрастайте, детки, скорее. Устал я от этой жизни, а смены мне нету.

Случилось так, что где-то в соседней деревне мать услышала проповедь Евангелия. Это так изменило ее жизнь, что и отец начал ходить на собрания евангельских христиан и вскоре уверовал во Христа как личного Спасителя.

Однажды, в праздничный день, отец сказал:

— Ну, детки мои, с самогоном я покончил. И чадить табаком не буду. Каждый вечер будем всей семьей благодарить Христа за жизнь вечную, за дары Его, нами не заслуженные.

На станции Кизнер мы прожили полтора года. Жизнь заметно ухудшалась, не хватало хлеба, и отец решил выехать в Сибирь.

Нелегкое это дело — переселение. Не успели обжиться на одном месте, как снова тронулись в большой и неизведанный путь. Остановились мы в 15 километрах от Красноярска, у реки Енисей. Там строился бумажный комбинат. По плану его должны были закончить за два года, но к нашему приезду за два года не было сделано

и половины работы. Говорили, что во всем виноваты вредители.

Отец с моим братом устроились на работу в столярный цех. Зарплата была урезана, семье не хватало на питание. Пришлось и матери идти на работу. Тяжело ей было носить из-под пилы доски и складывать в штабеля.

Вечером все собирались в доме. Отец читал Евангелие, мы слушали, а потом все склоняли колени и молились, просили у Бога помощи пережить трудное время.

Здесь я начал ходить в школу. Летом целыми днями ловил в Енисее рыбу. Кристально чистые воды реки неслись быстро и могуче. Иногда я молился: «Господи, помоги мне поймать побольше рыбы».

Однажды я поймал крупного тайменя, продал за 18 рублей, деньги принес матери и смело ей заявил:

— Мама, бросай работу! Я буду с молитвой рыбу ловить, и мне всегда будет удача.

— Слава Богу, сынок! Хороший ты у меня, труженик, заботливый. За 18 рублей я должна два дня таскать сырые доски.

Вдоль Енисея было расположено несколько десятков леспромхозов. Мы решили переехать в другой, ближе к Иркутску, на станцию Решеты. Отец и брат снова стали плотничать — такая работа там хорошо оплачивалась. Жизнь наладилась скоро. Шел 1937 год. Неделя за неделей, месяц за месяцем проходили незаметно. За несколько месяцев мы построили теплый, просторный бревенчатый дом. Я ходил в школу, а летом по-прежнему ловил рыбу, собирал кедровые орехи. В тех краях орехов было в изобилии.

К нам часто заезжали заготовщики леса из европейской части страны — люди бывалые, опытные в жизни. Они говорили:

— Вы тут живете как в раю. Держитесь этого места. В других областях люди хлебу рады, а у вас достаток, даже мясо есть.

Я завидовал тем, кто бывал в других странах. Таким был начальник лесопильного завода из Туапсе. Он снял у нас квартиру, жил с нами дружно. Когда-то он был механиком на корабле, бывал в заграничных плаваниях, и вечером, после работы, он приходил домой и рассказывал об Америке, Австралии, Бразилии:

— Главное — родина, земля родная, родня, а то я ни-почем бы в России не жил. Тут не жизнь, а маята. И при царе так было, и теперь не лучше.

Незаметно примостившись где-нибудь возле печки, я глотал каждое слово рассказчика и в душе решал при первой возможности вырваться за границу, посмотреть на людей другой нации, на другие земли и большие моря.

Когда я однажды признался об этом отцу, он сказал: — Нет, сынок, прошли те времена, когда люди по за-границам ездили на заработки. Теперь окружили Россию границами, и сидим мы, как за решеткой.

Отец часто в кругу друзей читал Библию, говорил им о Христе, и были случаи, когда люди изменяли свою жизнь, становились верующими. Наш квартирант при-слушивался к чтению Библии, незаметно снимал шапку и, бывало, в конце беседы говорил отцу:

— Я согласен с тобой, что надо в Бога верить, но вот

я дара веры не имею. Да и опасно теперь верить: вокруг аресты, не везде о Боге можно говорить.

Нашего квартиранта вскоре перевели на другую работу. Прощаясь с нами, он сказал:

— Молитесь обо мне, как вспомните. Меня тоже могут схватить в любой день.

На глухой таежной станции очень трудно было с жильем. Несколько домиков, разбросанных по обе стороны дороги, не вмещали приезжих. Нам не удавалось жить без посторонних людей, без квартирантов.

Однажды остановился у нас москвич, молодой ростопный парень лет двадцати пяти. Вечером мы пили чай. Квартирант спросил отца:

— Нет ли у вас подозрительных личностей? Я — уполномоченный НКВД, у меня в вашем леспромхозе дела есть.

— Нет, дорогой, никого я здесь не знаю, — отвечал отец. — Живем мы потихоньку, делаем сани да телеги в транспортном отделе. Вот и вся наша жизнь.

Москвич однажды спросил меня:

— Что ж это ты, молодой человек, такой худой? Мало хлеба ешь?

— Нет, я всегда такой. Раньше мы жили богато, а я все равно худой был.

Вечером отец позвал меня во двор и наставительно начал:

— Ты зачем сказал чекисту, что мы раньше жили богато? Он может меня в тюрьму посадить. Что тогда будете без меня делать?

Заметив на моем лице испуг, отец продолжал спокойнее:

— Смотри, сынок, не говори ему ничего о колхозах и о том, что у нас есть Библия, а то беда будет.

Политических преступников москвич в леспромхозе не нашел, но он спровоцировал двух молодчиков на кражу, потом арестовал их, а сам через несколько дней уехал.

В 1938 году в наши края все чаще и чаще начали прибывать заключенные, все больше и больше давали расчет вольнонаемным рабочим. На погрузке вагонов, на лесосплавах теперь работали только заключенные. В наш дом часто заглядывали жены заключенных, ночевали, плакали, жаловались на несправедливость, на тяжелую жизнь без мужей, ругали советскую власть. Однажды у нас остановились женщины из Алтайского края. Их мужья стали жертвами коллективизации. Они, можно сказать, заняли наш леспромхоз, и нам пришлось думать о переселении. Но куда ехать?

Выбор пал на Алтайский край. Нам говорили, что там хлеба в достатке, а где есть хлеб, там и жить можно. Дом мы продали на слом, по дешевке продали скот. Мать долго плакала из-за коровы, нашей кормилицы, а я горевал о нашей собаке-дворняжке. Она сразу же учуяла недоброе, не отходила от меня, а когда мы погрузились в вагон, она ни за что не хотела от нас отставать. И я, и сестра, и младший брат плакали за ней, как за членом семьи. Трезорка жалобно выла, вскакивала в вагон, но ее снова сбрасывали. Брать ее в неизвестный край, где надо было искать жилье, родители не решались.

Было лето, стояли теплые солнечные дни. Широко раскинулись просторы Восточной Сибири. Поезд вез нас мимо бумажного комбината, где год назад мы жили. Он стоял сиротливо, все еще недостроенный. Вот и могучая река Енисей, Красноярск. Отец любовался просторами богатого края и говорил нам:

— Смотрите, дети, сколько добра дает людям Бог! Всем бы людям хватило, если бы дали хоть немного свободы.

Остановились мы на станции Атлайская, около города Барнаула. Квартиру сняли в селе Чесноковке. Отец и брат ушли на поиски работы. Возвратились недели через две. Много селений обошли они и объездили в поисках места.

— Ну, дети мои, — сказал отец, появившись на пороге, — Господь указал нам новую родину. Как долго там пробудем — не знаю, но село красивое, хорошее, лес-промхоз есть, школа, река, рядом хвойные леса, построятся можно.

Мать, собираясь в дорогу, говорила:

— Странники мы и пришельцы на этой земле. Наверное, будем всю жизнь кочевать, пока Господь не позовет в вечные обители.



СИБИРЬ ВЕДЬ ТОЖЕ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Новое село называлось Бобровкой. Мы полюбили его с первого дня. Люди встретили нас приветливо, как старых знакомых. Я особенно был рад тому, что через село протекала река.

Отец работал в столярной мастерской. Зарабатывал мало, но большим подспорьем был хороший приусадебный участок, и мы не голодали. Вскоре нам удалось построить домик, обзавестись огородом и кое-каким хозяйством.

Колхоз, как тысячи колхозов в те времена, разваливался. Председателя колхоза, партийца, посадили за пьянство, прислали другого, но другой оказался еще хуже — был взяточником и мошенником.

Я, сестра и младший брат ходили в школу. В доме был обычай: каждый вечер семья собиралась на молитву. Родители воспитывали нас в строгом религиозном духе, прививали любовь к Богу, к людям и сами были для нас примером.

В 1940 году я окончил семилетку, с некоторым опозданием из-за болезни. Мне очень хотелось учиться дальше. Я поступил в барнаульское железнодорожное училище, изучал там электротехнику, политграмоту и другие предметы. Легче всего мне давалась техника, и я был у преподавателей на хорошем счету.

В ту же осень старшего брата забрали в армию и послали в полковую школу, но за отказ брать в руки оружие он был осужден на пять лет. Вскоре началась война, и мы потеряли его след. Это причинило всем нам великое горе. Особенно убивалась мать. Она не спала ночами, подолгу молилась, плакала и вскоре начала жаловаться на сердце.

Я жил в Барнауле, в интернате от училища. Однажды на выходной день я приехал в Бобровку, посетил с родителями евангельское собрание. Много непонятных чувств накопилось в моей душе. Я слышал проповедь и думал: «Все это хорошо, но почему Бог не сделает так, чтобы моего брата освободили? Ведь он был глубоко верующий, Бога чтит, а теперь страдает. Те же, кто в Бога не верит, наоборот, живут хорошо».

На пути из собрания меня встретил знакомый парень:

— Ты знаешь, Миша, новость?

— Какую? — спросил я.

— Война началась... Немцы на нас напали!

Эта новость меня не взволновала. Жили мы от границы далеко, воевать я не собирался. Старики между собой поговаривали:

— Тут дело не шутейное. Немец-то прет. Может, эта лавочка прикроется, и мы опять на свои земли вернемся?

Каждый день радио сообщало тревожные вести. Красная Армия сдавала город за городом. Люди насторожились:

— И вправду, немец может до нас докатиться.

Другие, более грамотные, объясняли:

— Это стратегия такая. Все делается с политикой. Надо измотать силы противника, заманить его поглубже на нашу землю, а потом с хвоста ударить, чтобы от него и духу не осталось. Так и при Наполеоне было.

Я не знал, то ли мужики говорят правду, то ли смеются над сталинской тактикой.

В Барнауле моментально выросли цены. Начали забирать лошадей, велосипеды, грузовики под лозунгом: «Все для фронта!»

Нас, учеников, перевели на вагоноремонтный завод, эвакуированный из Днепропетровска. Работали мы по десять-двенадцать часов в день, работали до изнеможения. Завод начал изготавливать боеприпасы. На территории завода, поблескивая на солнце, стояли штабеля двухпудовых слитков свинца. Я смотрел на этот свинец и думал: «Мне бы одну такую чушку! Сколько бы дробы получилось! А убивать живых людей? К чему это? Эх, не знают люди Бога, хотя бы эти немцы! Ну жили бы там у себя, а нас зачем трогать?»



«ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!»

20 мая 1942 года меня вызвали в военкомат. После беглого медицинского осмотра сказали:

— День на сборы! Отправим в Рубцовское пехотное училище!

Я вернулся в общежитие. Повсеместно шли сборы на фронт. На другой день мобилизованных отправили в Рубцовск — небольшой городок, расположенный в 200 километрах от Барнаула. Прошел еще один день, и я стал курсантом военного училища. Как быстро изменилась обстановка!

На другой день в нашу казарму зашел политрук. Он сделал сообщение о положении на фронтах, а потом предложил всем курсантам сдать свою гражданскую одежду в помощь Красной Армии. У меня была новая железнодорожная форма, и я бы охотно сдал ее для лагерей политзаключенных, где томился мой брат. Я свернул одежду и отнес в ближайший дом.

— Возьмите этот узелок, он вам пригодится, — сказал я хозяйке.

Возвращаясь в казарму, думал: «Как это случилось, что СССР оказался без вооружения и без одежды? Нам уверяли, что врага будем бить на его территории, что у нас запасов хватит на десять лет, а не прошел год войны, как начали забирать у людей последнее...»

Занятия от зари до зари выматывали нас, лишая сил.

Курсанты терпели, жаловаться все равно некому, и все желали одного: поскорее на фронт. Двухлетнюю программу нужно было «пробежать» за шесть месяцев. «Больше поту — меньше крови» — красовался лозунг в нашей казарме. И поту действительно было много. После «мертвого часа» (обеденного отдыха) трудно было натягивать на плечи гимнастерку. Она вся покрывалась солью, становилась твердой, как от мороза.

Мне нравились ночные тактические занятия. Я любил наблюдать за наступлением рассвета, стоять в дозоре, прислушиваться к пению птиц. Я не хотел воинского звания. Армия угнетала мой дух. Мне надоела армейская дисциплина. Я подал заявление с просьбой отправить меня добровольцем на фронт — бить врага. Мне хотелось пожить свободнее и, если представится случай, — пробраться в нейтральную, невоюющую страну.

Немецкая армия в это время уже подходила к Сталинграду. Из Рубцовска нас поспешно перевели в летние лагеря, ближе к Барнаулу, а вскоре нас выстроили на стадионе и зачитали приказ об отправке личного состава Рубцовского пехотного училища на фронт.

— Моя мечта сбылась! Я еду на фронт! — говорил я в пути друзьям.

Они удивлялись:

— Откуда у тебя такая прыть? Наверное, хочешь сразу орден получить?

— А чего тут подметки бить? Воевать, так воевать! — отвечал я.

В августе 1942 года наш эшелон остановился в городе

Загорске, около Москвы. Там шло формирование дивизии, в которую влилось наше училище. Я попал в отдельный гвардейский противотанковый дивизион. Нас немного подучили и перебросили в Звенигород, ближе к фронту.

Была поздняя осень. Дожди моросили день и ночь, не давая нам возможности обсохнуть. Нашу часть бросили в направлении Ржева. Как только выпал первый снег, дивизия начала наступление. Батальон за батальоном бросались в бой на прорыв немецкой обороны. Немцы косили людей, как траву, упорно оборонялись, но задержаться на нашей земле они уже не могли. Фронт тронулся. Отступая, немцы жгли наши деревни и села. Огромные толпы легко раненых отходили в тыл, на смену им постоянно приходило пополнение. Здесь меня перевели связистом в штаб Пятой армии. В полевом дивизионном лазарете ежедневно умирали тяжело раненые. Их хоронили без гробов, в неглубоких могилах. На лицах наших солдат лежала печать изнеможения, усталости и озлобления на весь мир. Трудно было разобраться, кого нужно было больше ругать: Сталина за неподготовленность к войне и его безумную тактику, не считавшуюся с человеческими жертвами, или Гитлера за его вероломство? Чаще всего в сырых траншеях солдаты проклинали и того и другого.

А однажды танкист нашей танковой роты, озлобившись, двинул свой танк на колонну немецких пленных, сминая их гусеницами:

— За Родину! За Сталина! Кровь за кровь!

Под гусеницами танков неистово кричали люди. Окровавленные куски человеческих тел выбрасывало в грязь. Смотрел я на это с ужасом и думал: «Вот так, вероятно, озлобленные немцы поступают с нашими пленными. А я хотел к ним убежать. Нет, этот план надо оставить».

Мне надоело смотреть на человекоубийство. Хотелось, подражая брату, отказаться от оружия и пойти в тюрьму. Но за отказ от оружия немедленно расстреливали, и я, скрепя сердце, ждал, что будет дальше.

С огромными потерями фронт продвинулся на 25 километров. Соседняя дивизия освободила город Великие Луки, полк слева наступал на Ржев. Штаб дивизии и медсанбат стояли в наполовину сожженных селах. Наши силы иссякли, ряды поредели, наступление приостановилось. Специальные команды подбирали тела убитых немцев, снимали с них одежду, срывали белье и зарывали трупы в общих могилах.

При штабе дивизии я познакомился с поваром и шофером командира дивизии. Это были бывалые парни, прошедшие через огонь и воду. Однажды мы отремонтировали в деревне баню и натопили ее для штаба. После большого начальства мы, втроем, уселись на полку париться.

— Надо помыться, — сказал я, — может, придется Богу душу отдать. Говорят, нас опять бросят в наступление.

— Надо, Миша, что-то придумать, чтобы выжить, — говорил шофер. — Вот моя машина в Москве, на капи-

тальном ремонте, и если меня бросят на передовую, я воевать не буду.

— А что ты сделаешь? — спросил я.

— Махну к немцам.

— Они же наши враги.

— Эх, Миша, Миша, молодой ты еще, потому и не знаешь, кто наши враги.

Я был поражен откровенностью друга и сам себе сказал: «Это как раз мои мысли». Шофер ожидал от меня ответа, но я промолчал.

На другой день я получил печальное письмо от отца. В барнаульской больнице умерла моя мать. Отец вместе с моей младшей сестрой взяли ручные санки, поставили на них приготовленный гроб и ушли в Барнаул, чтобы привезти тело матери. Но в Бобровке мать не удалось похоронить. Ее тело в мертвецкой не нашли.

— Козлову похоронили в общей могиле, — ответил директор больницы.

Отец вернулся домой с пустыми санками.

Эта весть меня буквально сразила. Ни о чем другом я уже не мог думать.

Неожиданно пришел приказ: пополнить стрелковые роты за счет тыловых частей. Меня бросили на передовую, и я сразу почувствовал, что это Сам Господь открывает мне возможность вырваться из ада: или умереть, или быть калекой, но не оставаться на фронте. На передовой люди долго не задерживались.

Каждый день в предвечерние часы немцы устраивали нам «моцион» — двухминутный огневой налет. За эти две

минуты они выпускали на нашем участке не меньше двухсот мин. Однажды после такого налета меня вызвал лейтенант:

— Товарищ Козлов, нет связи с наблюдательным пунктом. Найдите обрыв провода.

— Есть, товарищ лейтенант!

Я взял телефонный аппарат, карабин и направился на поиски обрыва линии. Кабель тянулся по рогатинам и кустам. Вскоре стемнело, поднялась метель, последняя метель в марте. Я шел по сугробам, держался линии, подключал аппарат и звонил. Наконец нашел обрыв, соединил его, еще раз проверил связь и пошел в обратный путь, но не по линии. Я выбирал лучшую местность, где не было ровов и кустарников. Шел я долго, устал, изредка отдыхал, ждал, когда посветлеет. Чтобы не наскочить на известные мне минированные поля, кое-где шел в обход, пока, наконец, не увидел, что сбился с пути. Метель улеглась, и я заметил две избушки, уцелевшие от огня. «Должно быть, Каменка, — подумал я, — занятая соседним с нами батальоном».

Я подошел ближе. По дороге, навстречу мне, шел человек с ведром в руке. По автомату, висевшему у него на груди, я узнал, что это немец. Я снял свой карабин и приготовился бежать, но рядом застрочил пулемет. Я оказался в немецком окружении. Значит, мне не уйти. Недолго думая, я отбросил карабин в снег. Немец остановился, снял автомат и помахал рукой.

«Значит, быть мне в плену», — решил я и пошел навстречу немцу. Он отвел меня в штаб, где я сказал, что попал в плен не случайно, а пришел сам.

— Почему ты пришел? — спросил меня немец на чистом русском языке.

— Моего брата посадили в тюрьму за религиозные убеждения, мать умерла от тяжелых переживаний. И у меня нет желания воевать за такую власть.

— А куда бы ты хотел теперь?

— В деревню, заниматься сельским хозяйством.

Как только немцы узнали, что я разбираюсь в механике, они отправили меня в авторемонтные мастерские при 18-й бронетанковой дивизии.

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

В мастерских я встретил несколько русских парней. Они работали у немцев давно, привыкли к новой обстановке, получали хороший паек и о том, как окончится война, не хотели думать.

— А что, если победит Сталин? — спросил я одного. — Куда денетесь?

— Ты живи сегодняшним днем: день прожил, и слава Богу, — ответил мне старший. — Теперь такое время, что каждый спасается, как может. Благодарю Бога, что не на фронте.

«Правду говорит этот человек», — мысленно согласился я. Я выбросил из головы заботы о будущем. Теперь я не видел, как люди убивают людей. Мастерские стояли в глубоком немецком тылу.

Наступила весна 1944 года. Настроение немцев заметно падало: с фронтов шли плохие вести. Дивизию, при которой были мастерские, перебросили в Польшу, потом в Кенигсберг, потом — на северную границу Италии. Немцам стало туго, и они не знали, какую дыру заткнуть этой дивизией. Вскоре мы оказались в Хорватии, а через несколько недель нас отправили в Венгрию, в Будапешт. До этой поры Венгрия жила тихой, мирной жизнью. Теперь война протянула свои щупальца и к этой богатой, благоустроенной стране. Лето мы провели в городе Уйвидек, что означает «новый сад». Меня поражала жизне-

радостность венгров. Богатые сады, виноградники, луга, урожайные поля; на базарах много яблок, слив, груш, арбузов. В селах у крестьян было много скота, уток, гусей, кур. Каждый вечер на дорогах выставлялись бидоны молока. Потом грузовики собирали все это молоко для переработки на масло. И я подумал: «Что будет, если через несколько лет „товарищи“ начнут здесь организацию колхозов?»

Все быстрее и быстрее к Венгрии приближался фронт. Нас перебросили в Словакию. Там произошел коммунистический переворот, и немецкое население было посажено в тюрьмы.

Когда мы прибыли, школьники Словакии уже надели пионерские галстуки, а на больших зданиях развевались советские флаги. В стране успешно действовали советские десантники. Словаки встречали их как братьев-освободителей — с распростертыми объятиями. Столица Словакии — Братислава — уже находилась в руках повстанцев. Я увидел, что словаки ненавидят гитлеровский режим и хотят быть свободными.

Словакия была утрачена, и нас снова направили в Венгрию, где шли кровопролитные бои. Мне дали грузовик и заставляли возить раненых. В этих местах (под городом Нотван) за несколько дней были на голову разбиты четыре эсэсовских дивизии. Мы с остатком дивизии возвратились в уцелевший словацкий городок Кремница и там простояли зиму 1945 года. Война близилась к завершению. Не хватало горючего. Настроение немцев упало окончательно. Теперь каждый думал, как бы до-

жить до окончания войны. Из остатков разбитой 18-й бронетанковой дивизии немцы сформировали один полк и бросили в Чехословакию, на Прагу. Во всех вспомогательных службах полка были русские. Нам дали немецкую одежду без знаков различия, но оружия нам не доверяли. Шли разговоры об организации Власовской Армии, но знающие люди открыто говорили, что это не спасет Германию. Было уже поздно. Об этом должен был думать Гитлер, когда начинал войну, а он ненавидел Власова, держал его под арестом.

Теперь немцы повсеместно жгли свою технику, взрывали танки и автомашины. Чехословакия была охвачена восстанием. Чехи, как и словаки, сначала подпольно, а потом открыто выступили против немцев. Мне пришлось бросить грузовик, надеть гражданскую одежду и скрыться в чешской деревне. На другой день появились пьяные красноармейцы и с ними лейтенант по фамилии Васин. Я подошел к нему:

- Здравствуйте, товарищ лейтенант.
- Здоров, здоров, браток! Куда чешешь?
- Да вот бегу от немца-бауэра, навстречу своим.
- Хорошо делаешь, парень. Так и надо. Придешь сам

в воинскую часть — никто не тронет, а будешь прятаться — хуже будет.

Как только лейтенант Васин узнал, что я шофер, он оживился:

— Чего же ты молчишь? Мне шофер до зарезу нужен. У меня вот есть машина, а шофера нет. Хочешь, катай со мной! Поедем в Прагу праздновать победу!

Васин хлопал меня по плечу, обнимал, протягивал флагу с водкой:

— Пей за победу! Ведь у бауэра тоже не мед был. Просто не верится, что дождался конца войны и вот живой остался.

Когда его солдаты прикатили бочку шнапса, он сам налил мне флагу, и я пил, забыв о том, чему учили отец и мать. Солдаты пили, кричали, пели песни, находили среди чехов немцев, грабили их, насиловали женщин, даже старух.

По дороге в Прагу мы встретили колонну пленных власовцев. Они выступили с оружием на стороне чехов против немцев, но советские части их окружили, разоружили, построили в колонны и под усиленным конвоем погнали на восток.

— Вот они, предатели, — кричал мне на ухо Васин. — Видишь, какие герои? Всем теперь будет вышка, не иначе.

Я кивнул Васину, а в душе подумал: «Ничего ты, браток, не знаешь. Я ведь сам такой. Только некуда мне теперь деваться».

На пути в Прагу нас часто останавливали чехи, угощали вином, называли братками, приветствовали Красную Армию как освободительницу. В одной деревне нас пригласили на ночлег. Хозяин не мог нарадоваться, что в его доме — русские освободители. Он пел с нами наши песни, а мне хотелось ему сказать:

— Подожди, отец, не спеши радоваться. Через год-два другим голосом запоешь.

Утром мы любезно простились с хозяином и поехали дальше, но вскоре пришлось остановиться возле многолюдной толпы. Оказалось, там был открыт большой немецкий винный склад. Красноармейцы несли вино в котелках, ведрах, флягах, пили на ходу, даже из пилоток, горланили песни, блевали; одни валялись в грязи, другие спали под стенами мертвецким сном. Я увидел это зрелище и сам загорелся желанием достать побольше вина.

— Товарищ лейтенант, — обратился я к моему новому начальнику, — у вас прочные сапоги, а тут надо вброд идти. Налейте одно ведро.

Весь огромный длинный подвал по колени был залит вином. Оно вытекало, красное, как кровь, из стоявших рядами больших дубовых бочек. Красноармейцы подставляли к бочкам ведро за ведром; некоторые, перепившись, здесь же опрамливались, другие, опьянев, падали в вино, и их, как утопленников, оттаскивали за руки. У большинства поблескивали на груди ордена, на ремнях болтались пистолеты.

— Пей, братва, напивайся! На то он день победы сегодня! Мы четыре года ждали этого дня! — раздавались голоса на дворе.

Через несколько дней лейтенант Васин встретил свою воинскую часть. Это была 3-я Танковая армия, 40-й мотомехполк.

— Ну, Миша, послужил ты мне хорошо, повозил на славу, а теперь иди на все четыре стороны, — сказал он мне возле Праги, но тут же по-дружески добавил: — Советовал бы тебе остаться в нашей воинской части. У нас

половина личного состава была под оккупацией. Мы так пополняем нашу дивизию.

Я слушал лейтенанта и не знал, что для меня лучше: остаться у Васина или пойти искать по всему свету счастья?

— Ну, давай на прощанье выпьем еще по одной, — продолжал лейтенант, заметив мою нерешительность.

Он пригласил в кампанию своих людей. Все были веселы, дружелюбны, не выказывали мне никакого подозрения.

Со мною был один друг, по имени Геннадий. Он так же, как и я, был у немцев и бежал от них вместе со мной. Я ему сказал:

— Давай, Геннадий, махнем к американцам. Они тут рядом.

— Да ты что, с ума сошел? — ответил он. — Вчера я сам видел, как Власова и его штаб везли от американцев. Выдали его, иуды. Они всех выдадут.

Мне пришлось согласиться с доводами Геннадия, и я остался в мотомехполку.

ОПЯТЬ «РАВНЯЙСЬ!»

На другой день нас с Геннадием вызвали в штаб. Мое сердце сжималось от страха. Я знал, что деваться мне некуда, и шел в штаб, как на виселицу. Но страх мой оказался напрасным. Молодой прыщавый паренек, штабной писарь, спросил меня:

- Как твоя фамилия?
- Смирнов.
- Имя?
- Михаил.
- Год рождения?
- Тысяча девятьсот двадцать первый.
- Где родился?

Я ответил и на этот вопрос.

Поначалу я никак не мог привыкнуть к своему новому имени. Бывало, на поверке вызывает старшина:

- Смирнов!

Я молчу, а меня толкают:

- Ты что, спишь? Тебя вызывают!

Нас наголо остригли, обмундировали, выдали воинские удостоверения. И мне, и Геннадию (он тоже был шофером) дали грузовики. В них мы и спали.

Вечерами новые друзья вспоминали о былых военных делах, окружении, партизанской войне, о тех трудностях и жертвах, которыми была куплена победа. Я слушал эти рассказы, и мне было не по себе: а я-то где был? Что де-

лал? Кому служил? Что сделал для победы? Но получилось так, что и мне неожиданно дали медаль «За взятие Праги». А через несколько дней всем военнослужащим выдали медали «За победу над Германией». Я решил не идти за этой медалью, потому что и ту, которую получил, мне было стыдно носить.

Вскоре меня назначили батальонным механиком, дали машину с оборудованной мастерской, которая называлась летучкой. Техник нашего батальона, старший лейтенант Соловьев, как и другие офицеры, любил выпить, поговорить по душам с солдатами. Бывало, вечером, подпив, он собирал вокруг себя подчиненных и первым начинал песню все о той же тяжелой человеческой доле:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
А в степи глухой
Умирал ямщик.

Я слушал эти песни и говорил сам себе: «Почему так получается? Война закончилась, порадовались мы несколько дней, а теперь эту радость как корова языком слизала. Опять подъемы, построения, занятия, политграмота».

Вскоре наш мотомехполк перебросили в Австрию, в большие немецкие казармы в городе Кремс. Однажды в автопарк пришел старший лейтенант Соловьев с человеком, одетым в гражданский костюм.

— Ребята, кто хочет в тюрьму — познакомьтесь вот

с этим человеком, — начал Соловьев как бы шутя и указал на своего мрачного спутника.

Его спутник небрежно кивнул головой, обвел нас усталыми глазами и начал речь:

— Товарищи, всем нам известно, что после окончания войны в наши воинские части приходили люди, которые были под гитлеровской оккупацией. Я прислан штабом дивизии произвести регистрацию. Бояться тут нечего. Это простой учет.

Я был смущен началом этого дела, но когда человек в гражданском костюме начал разговаривать со мной просто, без принуждения, я успокоился.

— Знаешь, парень, отвечай, как оно было. Я, может, сам был под этой оккупацией. Таких теперь миллионы. Ты знаешь, что такое Бухенвальд? — начал он краткий опрос.

— Кажется, там был концентрационный лагерь.

— А ты в нем не бывал?

— Нет.

— А где же ты был?

— На ремонте дорог. Немцы отступали и нас, пленных, гнали с собой.

— Под охраной?

— Нет, под присмотром.

На этом наш разговор закончился, и мы простились как хорошие знакомые.

На службе я имел успех. Офицеры полка постоянно доставляли мне трофейные мотоциклы для ремонта. Я работал не покладая рук, днем и ночью. Офицеры, в свою

очередь, угощали меня водкой, приглашали на свои «балы», которые они устраивали в немецких селениях. Вскоре меня вызвали в штаб и предложили преподавать автодело офицерскому составу. Это еще больше расширяло круг моих связей. Почти каждую ночь устраивался налет на немецкие склады, на богатых крестьян. В таких грабежах и попойках много раз участвовал и я. Иногда, подпив, я вспоминал детство и, как в бреду, разговаривал сам с собой:

— Куда ты, Миша, зашел? К чему такая жизнь приведет? О тебе молилась Богу мать, чтобы ты стал человеком, а ты, вот, стал разбойником и пьяницей.

Иногда мне хотелось плюнуть на все и бежать в лес, в горы, подальше от людей, чтобы начать жить честно, по-христиански. Но дальше желаний дело не шло.

В августе наш батальон начали расформировывать. Комбат взял меня личным шофером. Он много ездил, много пил, много дебоширил. Мне хотелось как можно скорее отвязаться от него и от его «полевой жены». Она липла ко мне, как муха на мед. Таких «полевых жен» офицеров обычно называли «пэ-жэ». Они часто бывали причиной интриг, скандалов, драк, даже убийств. Я оторвался от комбата. Меня перевели во 2-й батальон, но там мне не повезло. За невыполнение приказа замкомполка дал мне десять суток гауптвахты, а потом меня перевели в пехоту. Так закончилась моя военная карьера.

Когда я оказался в пехоте, в голову пришла мысль: бежать к американцам. Поделился ею с Геннадием. Он был согласен. На другой день мы увидели американскую ав-

токолонну. Под усиленным конвоем они везли бывших советских военнослужащих для выдачи нашей комендатуре. Я видел испуганные, растерянные лица моих братьев. В их глазах мерещилась смерть. А через несколько дней я увидел ужасные лагеря, куда свозили русских, выданных нашему командованию американцами и англичанами. Это возмущало не только меня, но и моих друзей-фронтовиков. Некоторые говорили:

— Вот союзники! Из кожи вон лезут, чтобы угодить Сталину. А ведь знают же, что всех этих людей погубят в лагерях. Ну и пусть бы народ жил, где хотел. Кончилась война, хватит убивать.

План перехода к американцам у меня расстроился. Расстроился этот план и у других моих товарищей, с которыми я успел сдружиться. Они говорили откровенно:

— Кончилась война, демобилизуют — и опять запрягайся в проклятый колхоз. Опять горе мыкать. Эх, пожить бы пару годков так, как люди живут!

20 мая 1946 года была назначена демобилизация военнослужащих по 1921 год рождения включительно. Я входил в эту категорию. Решил ехать на родину, оставить разгульную жизнь, заняться честным трудом где-нибудь рядом с отцом. День демобилизации совпадал с днем и месяцем моего призыва в армию в 1942 году.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

*К*омандование дивизии выдало демобилизованным «подарки»: 5 кг сахара, 8 кг муки и 50 талонов для обедов на вокзалах.

Каждый день отправлялся в СССР эшелон с демобилизованными. Возле станции, под большими деревьями, были поставлены столы, за ними сидела комиссия. Каждый демобилизованный подходил к столу, где сверяли его документы, задавали вопросы. Я побаивался. Надрывно стучало сердце.

Подошла моя очередь. Начальник кадров, пожилой майор, спросил:

- Фамилия?
- Смирнов.
- Куда едешь?
- В Барнаул, откуда был призван в армию.
- Все. Кто следующий?

Я был рад, что так легко отделался. Меня освобождали из армии, ничего не вспомнив о прошлом.

В вагонах была невероятная давка. Несколько ночей я, по примеру других, спал на крыше. Нас везли через разрушенный Будапешт. Все семь мостов города были взорваны, обломки лежали в Дунае. Я смотрел с крыши вагона на руины и вспоминал былые дни, когда Будапешт был полон жизни, а я проходил через него с немецкой частью.

Румынию мы проехали быстро, почти не останавливаясь. Перед советско-румынской границей эшелон остановился в поле.

— Выходи на построение! — кричал дежурный. — Строиться перед вагонами!

Через несколько минут приехали пограничники. Они произвели перекличку людей и начали перетряску наших узлов и чемоданов. Некоторые чемоданы открывали, просматривали вещи, а мы стояли перед вагонами в строю, как под арестом.

У большинства на груди поблескивали ордена и медали, на вагонах пестрели лозунги: «Мы — победители! Да здравствует любимая, освобожденная Родина!» А в голове у каждого была думка: нет, не изменилась наша Родина. И порядки не изменились.

На пограничной станции нас перегрузили в другой эшелон — по советской колее, и на следующий день я уже был в Киеве.

Мои мысли занимал Барнаул, родные места, старый отец, но я знал, что там мне жить нельзя. Решил остаться в Киеве. Я пошел к начальнику эшелона:

— Дайте мне мои документы. Я хочу навестить родственников в Киеве.

— Никаких документов! Пассажирские поезда перегружены. Езжай, куда назначен.

— Как хотите, а я остаюсь здесь, — заявил я. — Воевал за свободу и теперь не могу встретиться с родственниками? Придется вам документы прислать.

Начальник злобно выругался и распорядился выдать

документы. Я взял в руки конверт и облегченно вздохнул. Теперь я действительно был свободным человеком.

Весь день я бродил по разрушенному Киеву, зашел в военный отдел, спросил о прописке. Начальник строго оглядел меня с ног до головы, потом надел очки, долго просматривал мои документы и, не поднимая седой головы, глухо пробурчал:

— Вы направляетесь в Алтайский край. Туда и поезжайте.

В Киеве мне устроиться не удалось. Работы еще не были организованы, люди ютились в развалинах, в грязных подвалах или просто на улицах, в скверах, заваленных мусором, под открытым небом. Буханка хлеба стоила 75 рублей, а жиров на базаре вообще нельзя было купить.

Через несколько дней я уехал в Каунас, к армейскому другу, сержанту из медсанбата. Опять на вокзалах давка, поезда переполнены до отказа. Поражало то, что все кондуктора, осмотрщики, смазчики и стрелочники — женщины.

В Каунасе я не нашел своего полкового друга — он уехал к отцу в деревню. В ожидании его возвращения мне пришлось остановиться у его брата, бывшего директора спиртзавода. Он только что вернулся из тюрьмы. Член партии, видный в районе работник, он попал в немилость райпрокурора из-за личных счетов. Его арестовали, полгода держали под следствием в тюрьме, в ужасных условиях.

Он предложил мне скромное угощение и принялся рассказывать о своем горе.

— Знаете, — говорил он почти шепотом, — до тюрьмы я не знал, что есть на свете такие мучения. Камера зимой не отапливалась, и я чуть не загнулся от холода. Шпана меня загоняла под нары, отбирала мой жалкий паек; заедали вши и клопы. А вот теперь меня оправдали, восстановили в правах, но жизнь мою навсегда искалечили.

В глазах рассказчика стояли слезы обиды... Он задумчиво поглядел в окно, за которым опускался вечер, и продолжил:

— Пришел я из тюрьмы, а за это время жена спуталась с лейтенантом-замухрышкой. Я их прямо накрыл... Ну, конечно, получился скандал. Но беда оказалась еще больше: жена была беременна, и мне пришлось взять развод. Вот какие, браток, дела...

В Каунасе я не нашел подходящей для себя работы и решил ехать в Барнаул, чтобы глянуть на родной край, порадовать отца-старика.

В Москве мне пришлось делать пересадку. Я заком-постировал билет на Свердловск. В шумном зале бродило много детей. Они просили у военных «копеечку», жаловались одними и теми же словами:

— Папу немцы убили, мама умерла с голоду...

Едва нашел я свободное место, чтобы присесть, как ко мне подошли два патруля из комендатуры:

— Ваши документы?

— Пожалуйста.

— Демобилизованный?

— Да.

— Пойдемте с нами.

— Зачем? — спросил я робко.

— Не разговаривать!

Патрульные повели меня в камеру хранения. Там мне выдали мой деревянный чемоданчик и ветхую шинелишку.

— Это все ваши вещи? — строго спросил старший.

— Так точно, все.

Патрульные загадочно переглянулись и вернули мне документы со словами:

— Идите, все в порядке.

Мне рассказывали, что московская комендатура грабила демобилизованных из Германии солдат, даже офицеров. Но я был один из тех немногих, у кого нечем было поживиться.

Поезд «Москва — Свердловск» принял в Москве немало пассажиров, но на каждой остановке он быстро обрастал людьми. В вагонах все та же духота и давка. В Свердловске положение оказалось еще хуже. Люди томились на вокзале в ожидании поезда. Я еле пробился в тамбур и в дождливую, холодную погоду сутки ехал «с ветерком».

В Новосибирском железнодорожном институте училась моя сестра. Я решил ее навестить и зашел в ее класс, где шла лекция. Сестру я оставил маленькой девочкой. Теперь она выглядела взрослой и возмужалой. Она мне обрадовалась, оставила лекцию, вышла на улицу.

— Ну рассказывай, Миша, как ты выжил? — начала она первой.

Я не знал, о чем ей рассказывать, не находил слов.

— Мы уже думали, что ты погиб. Вот отец обрадуется! А где же твои ордена? — вдруг спросила сестра, улыбнувшись.

— Да вот лишь одну медаль заслужил. Это все. Ты же знаешь, как нас родители учили закону Божьему.

Я стоял перед сестрой в смущении, краснел, терялся, и она это сразу заметила:

— Ничего, братик, я тебя понимаю. Не горюй. Главное — ты жив, а невеста найдется и полюбит и без медалей.

Три дня я прожил у сестры. Училась она хорошо и твердо верила в Бога. Я завидовал ее вере.

— Знаешь, брат, — говорила она мне, прощаясь, — у нас есть официальная, партийная линия, а есть неофициальная, тайная. Она вот здесь — в моем сердце. Я ее держусь. Богу молюсь каждый день, когда все улягутся спать. И за тебя молилась и буду молиться.

Я простился с сестрой, немного всплакнув. Меня беспокоила совесть. Я не рассказал сестре о своих похождениях. Мне хотелось отойти от мира, уединиться, обо всем забыть, найти евангельскую общину, включиться в ее жизнь.

В Барнаул поезд пришел в полдень. Пароход на Бобровку — в деревню, где жил отец, уже ушел. Я не хотел ожидать следующего рейса, вышел на дорогу и сразу же остановил машину, которая шла вдоль Оби. Слез почти около села. Вечерело. На другом берегу буйно разлившейся реки чернели силуэты раскинувшихся по холмам изб. На берегу реки я приметил будку бакенщика и по-

дошел туда. Бакенщик сидел у костра и аппетитно грыз кусок конопляной макухи.

— Что, браток, говоришь, на ту сторону надо? — говорил он простуженным голосом и глядел то на меня, то на обрубок своей ноги.

— Да, — ответил я. — Очень бы надо. Перебрось меня, я заплачу.

— Ты видишь, что там делается? — ответил бакенщик, показывая рукой на реку. — Жди, пока ветер уляжется. Потом попробуем. Хочешь кусок «сталинского калача»? — спросил он меня, протягивая кусок макухи. — На вот, погрызи и ты.

Я отказался от его угощения и отрезал ему кусок хлеба от своего бедного запаса. Это расположило бакенщика, и он охотно вступил со мной в разговор:

— Фронтовик, говоришь? Бери вот, закури. Наша покрепче. Я, браток, тоже фронтовик. В 43-м году ногу отхватило под Спас-Деменском. Награды имею, а теперь вот, видишь, какая она, жизнь?

Бакенщик злобно выругался и сплюнул в костер. Слюна закипела, как сало на сковородке. Он подбросил дров, привстал на костыле и проковылял в будку.

— Посиди, тут у меня четвертинка первака уцелела. Вот мы ее и прикончим. А там, глядишь, ветер утихнет.

Он вернулся моментально. Одной рукой потряхивал бутылку, другой опирался на костыль.

— Хватанем немного, все равно жизнь пропащая. Опять колхоз...

— А где лучше? — спросил я.

— Да, брат, воевали, кровь проливали, а добра все равно не жди: хочешь — иди в колхоз, хочешь — подавайся на завод, да только везде одинаково. Земля наша, а хлеб не наш... Разве что «усатый» дуба даст, тогда, может, что изменится.

Долго я разговаривал с бакенщиком. Я был поражен его откровенностью и озлобленностью на советскую власть и даже подумал, не агент ли он?

Когда ветер утих, он посадил меня на весла, а сам умело направлял лодку на другую сторону и подбадривал меня:

— Не робей, жми на весла что есть духу, за жизнь я ручаюсь.

Река разлилась вширь километра на три, и мы с большим трудом добрались до другого берега. Бакенщик от платы отказался.

— Будешь жениться, зови на свадьбу. Ты не смотри, что я калека. Главное, брат, я душу не потерял. Спою такую песню, что ты вовек не слышал. Женись, обязательно женись. А я уж буду жить со своей культяпкой... — слышал я голос бакенщика с отплывающей лодки.

Я прошел вдоль реки, полюбовался июньской красотой, подошел к нашему огороду. На задворье светилась побелевшая голова отца. Он полел грядки. Залаяла моя любимая собака. Она всматривалась в меня и, узнав, завизжала от радости. Я был удивлен, что собака еще меня не забыла.

Подошел отец, расплакался как ребенок, поцеловал

меня, омыл слезами. И я не мог сдержать слез. От выплаканных слез на душе стало легче.

— Подожди, сынок, я подою корову, парным молочком угощу, — говорил отец, усаживая меня в избе.

Оказалось, что у отца есть все: мясо, масло, молоко, овощи.

— Как же ты, отец, пережил это трудное время? Я думал, что у тебя хлеба нет. Вот берег свой паек, чтобы тебя угостить, а у тебя всего в достатке, — радовался я.

Отец улыбнулся сквозь порыжевшие усы, помолчал, а потом, показывая на небо пальцем, сказал:

— Бог, в Которого я верю, дал мне все, что я имею. Ожидал тебя, молился, чтобы ты скорее вернулся домой. Может, женишься, облегчишь мою жизнь. Трудно мне, старику, доить корову, сметану сбивать, овец стричь, разводить цыплят. Это дело молодой хозяйке впору. А у меня нет порядка. Покойная мама блюла чистоту, а теперь и пол некому подмести.

В избу вошел мой младший брат, которому исполнилось 14 лет. Я его не сразу узнал. Он обнял меня, закричал от радости.

— Ну, вот так, может быть, и Федя придет, — утешал он плачущего отца.

— Нет, сынок, — отвечал старик сквозь слезы, — Федя избрал путь Христа. За Него он отдал свою молодую жизнь.

Весь вечер мы провели в разговорах. Отцу было о чем рассказать. Да и мне было о чем рассказывать, но я молчал. Тяжело было на сердце, хотелось все выложить

перед отцом, но он без слов догадывался и сам мне говорил:

— Приходило тебе, сынок, запрос. Участковый милиционер спрашивал.

— Я все знаю, папа, — ответил я. — Завтра мне придется уехать.

— Куда? — спросил отец, вздрогнув.

— Искать по свету счастья.

— Миша, я тебе одно скажу: держись Господа, как мы тебя учили. В Нем ты и найдешь свое счастье. Не попирай Его истину, где б ты ни был. Иначе будет тебе большая беда. Так-то, сынок, смотри...

— Хорошо, отец, я постараюсь жить так, как учил Христос.

Утром я сел на пароход и уехал в Барнаул.

Поезд в Новосибирск отходил на другой день. Решил ночевать на вокзале. Я уселся на скамейке в углу, думал вздремнуть, но в это время ко мне подошел молодой человек:

— Здравствуй, Миша! Не забыл? Ведь мы же вместе учились в железнодорожном училище.

— Ах, да, помню, помню, — сказал я, протягивая ему руку.

Он осмотрел меня с ног до головы, словно изучал мою военную форму, загадочно улыбнулся.

— Ты знаешь, — начал он осторожно, — выходит, ты был в армии, а я о тебе слышал плохое...

— От кого слышал? — спросил я.

— От Науменко, начальника училища.

— Да, — сказал я, — было маленькое недоразумение, но теперь все прошло, все уладилось.

В это время из буфета вышла девушка, подошла к моему другу, и он, поспешно простившись со мной, отошел.

Я боялся, что этот «друг» может сразу же сообщить обо мне в милицию. Пришлось выйти на платформу, сесть в первый попавшийся пригородный поезд и уехать из Барнаула. До утра я сидел на пригородной станции, к вечеру приехал в Новосибирск. В этом большом городе мне просто не везло. Жизнь была дорогой, килограмм картошки стоил 15 рублей, а работы подходящей не было. Через неделю я уехал в Смоленск.

В это время стояла жара. В вагонах была невыносимая духота, и я опять, по привычке, пробрался на крышу, к свежему воздуху, где уже сидело немало людей. Так ехал почти весь путь. На больших станциях люди слезили с крыш, чтобы не иметь неприятностей с милицией. Но как только поезд оставлял город, крыши вагонов опять пестрели людом. С крыши вагона я любовался просторами родины, особенно уральскими горами, Приволжьем.

В Смоленске я сменил военные шоферские права на гражданские и сразу же устроился шофером на машину скорой помощи.

Смоленск был разрушен до основания. Только знаменитый собор да крепостная стена чудом уцелели от бомбежки.

Автомобиль скорой помощи был днем и ночью в деле. Часты были вызовы: кого-то ограбили, придушили, у кого-то сердечный приступ, самоубийство и т. п.

Помню, привезли в больницу одну девушку лет восемнадцати. Когда клали ее в автомобиль, она потеряла сознание, но дорогой пришла в себя, приподняла голову и проговорила:

— Товарищи, отпустите меня. Я могу идти сама.

Мы все-таки привезли ее в больницу, но через пять минут ее отпустили. Она пошла домой пешком, так как тогда в Смоленске трамваи еще не ходили.

Одного старика привезли в больницу полумертвым. Когда его привели в чувство, первое, что он сказал, было:

— Дайте, товарищи, чего-нибудь поесть. Шесть дней во рту ничего не было.

Его подкормили и через несколько дней выписали из больницы. Помню, как он просил санитаров:

— Что вы меня из больницы гоните? Чай, не скотина я, а человек. Видите, ослаб. Подкормите меня еще малость, а потом выписывайте.

Эта работа была очень беспокойной. Мне она не нравилась, и я перешел шофером к директору Смоленского драматического театра Абраму Ионовичу Вайнеру. У него был старенький немецкий «Адлер», и он из него почти не вылезал.

С евреями у меня дела никогда не ладились, но Вайнер был исключительно хорошим человеком, дружелюбным, вежливым, внимательным, откровенным. Я его сразу полюбил как старшего товарища.

Бывало, везу его по городу, «Адлер» дрожит, дымит как паровоз, на подъемах еле тянет. Я ему говорю:

— Вы, Абрам Ионович, хотели в Москву машиной

поехать, а ведь в ней почти нет компрессии: капитальный ремонт нужен.

— Ничего, Миша, потерпим немного. Обещали мне новую, отечественную, а эту затащим на сцену — для спектаклей.

Пришла осень, а с ней дожди, холода. В декабре прихватил мороз. На сцене было семь-восемь градусов ниже нуля. Кочегарка разрушенного Дома Советов не могла отопить театр. На репетициях артисты замерзали.

Дом Советов восстанавливался заключенными. Его территория была огорожена колючей проволокой. Заключенных держали в подвалах. Каждое утро их выгоняли на работу, грязных, исхудалых.

При театре было два новых грузовика американской марки. На одном из них я часто возил дрова в котельную. Грузили и разгружали грузовик заключенные. В кочегарке работали тоже заключенные. Дрова были сырые, большей частью осиновые, горели плохо, шипели, трещали, тепла давали очень мало. Однажды со мной приехал замдиректора театра, спустился в кочегарку, поднял крик.

— Что, контра проклятая, саботируете? Хотите нас поморозить! — кричал он на кочегаров из заключенных.

— Дрова плохие, — раздавались их глухие, жалкие голоса.

Замдиректора не унимался, размахивал руками, сыпал ругательными словами. Я заглянул вниз. К замдиректора подошел кочегар, почти вплотную, сжал зубы, глянул на него озлобленными глазами и отдельно проговорил:

— Ты что, хочешь, чтобы я тебя в топку бросил? Я это сделаю в два счета. Мне все равно гнить тут всю жизнь.

Замдиректора выскочил из котельной, как мяч, и на ходу крикнул мне:

— Смирнов, заводи машину!

Всю дорогу он молчал, злобно сплевывал и курил папиросу за папиросой.

Позднее я встретился с котельщиками и сказал им:

— Молодцы ребята, умеете за себя постоять.

— А что же он, горбоносый, нам саботаж пришивает. Дров не дает, каких надо, а тепло ему дай. Мне вот дали пятерку ни за что, а он еще, значит, соль на рану сыплет. Я его бы в два счета поджарил. Тогда уж знал бы, за что страдать.

Нагружали мой грузовик преимущественно женщины, осужденные по бытовым статьям. Утром я приезжал на грузовике к женскому лагерю, где уже стояла очередь других грузовиков с нарядами для заключенных. Больше всего их брали на торфоразработки. Я разворачивал грузовик, трое охранников вскакивали на борт, становились спиной к кабине с автоматами наперевес, и начиналась погрузка. Женщин усаживали на грузовиках вплотную.

— Теснись, теснись, теплей будет! — покрикивал старший конвоир.

В мою кабину доносился женский голос, обращенный к конвою:

— Начальничек, разреши нам запеть.

Конвой не разрешал, но встречались добряки, которые говорили:

— Подождите, гражданочки, вот проедем поселок, тогда запоете.

Через минуту отдельный голос затягивал песню о горькой доле:

Что стоишь, качаясь, тонкая рябина,
Головой склоняясь до самого тына.

Другие голоса сразу подхватывали песню, и она плыла по смоленским полям, тихая, грустная, надрывная. Я старался ехать медленнее, чтобы тряской не прервать мелодию, и женщины это чувствовали, старались еще напевней вытягивать слова старинной песни.

Женщины были одеты тепло, по-зимнему: в ватные брюки, фуфайки, рукавицы, на некоторых были мужские шапки. Их голоса трогали мое сердце до глубины, как мог меня трогать хороший профессиональный хор. Умеют русские люди петь. И особенно они умеют петь, когда окажутся в беде.

Зима подходила к концу. Коллектив театра готовил пьесу К. Симонова «Русский вопрос». В этом спектакле мне пришлось проезжать на стареньком «Адлере» по сцене между декорациями. За участие в спектакле и за репетицию мне платили по 10 рублей дополнительно. Приходилось принимать также участие и в спектакле «Молодая гвардия» по пьесе А. Фадеева. Эти дополнительные деньги не улучшали моего материального по-

ложения. Приличный мужской костюм стоил 3000 рублей. Весь мой заработок шел на питание.

Не знаю почему, но меня постоянно что-то влекло на запад. Однажды на квартире моего друга мне довелось слушать по радио «Голос Америки». Я узнал, что за границей много русских людей, что не всех антикоммунистов американцы успели насильно выдать в руки Сталина. И я думал: «Какая странная нация эти англичане и американцы. В 1945—46 годах русских людей они хватали на улицах в своей оккупационной зоне и выдавали в руки советского командования, а теперь по радио они зовут бежать в свободный мир. Как же им верить? Как все это понимать?»»

ОПЯТЬ НА ЗАПАД

Наступила весна 1947 года. Потекли ручьи, вздыбился Днепр, начало пригревать солнце. Против окна моей квартиры, на пригорке, зазеленела трава. Весна всегда несла людям радость, но эта весна ничем меня не радовала. Цены на базаре не снижались. Чтобы получить хлеб по карточке, нужно стоять в очереди; одежды не хватало. Из Москвы возвратился директор театра. Я у него спросил:

— Ну как там, в Москве? Жизнь наладилась?

— Так, как в Смоленске, и немного хуже. Те же про-дуктовые карточки и те же очереди...

Один из моих сослуживцев, старик, театральный плотник, говорил:

— Имел я четырех сыновей, все отдали жизнь за советскую власть, а теперь вот под старость приходится за кусок хлеба вкалывать. Тоже жизнь...

Знал я завхоза при Красном Кресте, Ефима Ивановича Загульного. Он всю войну партизанил, имел награды, а подвыпив, не боялся говорить открыто:

— Я, мой сокол, воевал за лучшую жизнь, а она, смотри, — та же суетория. Объягорил нас усатый Ёська, а теперь сидит в Кремле и в ус не дует. Эх, скорей бы его доконали! Может, перемена вышла бы.

На квартире Ефима Ивановича я часто слушал «Голос Америки». Однажды к нам неожиданно зашел началь-

ник госпиталя, профессор Оглоблин. Он сразу понял, чем мы были заняты, улыбнулся и сказал тихо:

— Знаете, друзья, мой долг заметить вам, что правительство запрещает слушать американскую брехню. Смотрите, вас могут накрыть.

— Это верно, — ответил Загульный. — Хотя трудно теперь разобраться, где брехня, а где правда, но лучше не слушать.

Вскоре Ефим Иванович угодил в тюрьму на 10 лет за незаконное использование государственного имущества, которым он заведовал. Когда я узнал, что Загульному дали 10 лет, я решил во что бы то ни стало выбраться из Советской России, пока не поздно. Ночью, перед сном, я пробовал в душе своей молиться: «Господи, помоги мне выбраться из России и начать христианскую жизнь, иначе я в этом окружении совсем погибну».

Свои планы я никому не открывал, носил их в сердце. Я написал директору драматического театра заявление, чтобы он дал мне отпуск с первого по третье июня. Директор согласился. «Ну, товарищ Вайнер, теперь ты меня никогда больше не увидишь», — подумал я и сразу же начал собираться в путь. Знакомой девушке я сказал так:

— Таня, есть у меня в Каунасе друг по армии. Я решил его проведать.

Провожала она меня неохотно, всю ночь плакала. На вокзале, уже у дверей вагона, сказала:

— Миша, чует мое сердце, что я тебя никогда не увижу. Не уезжай.

Мы простились на перроне, и я с тяжелым сердцем

вошел в вагон. Поезд «Москва—Брест-Литовск» оказался наполовину пустым. В спальном вагоне со мной ехали два лейтенанта. Они возвращались в Берлин из отпуска. По всему было видно, что ехали с большой радостью, пробовали петь. У меня же, наоборот, сердце стучало неровно, я весь осунулся, постарел от бессонной ночи. Передо мной стояла сложная задача: как можно ближе подъехать к границе, изучить местность и перебраться в Польшу, а оттуда искать путь в Австрию и дальше — в Швейцарию.

Вспомнил покойную мать, ее наказания, вспомнил свое детство, евангельские собрания. Я стоял перед окном вагона, закрыв глаза, и про себя молился: «Господи, я знаю, что Ты есть. В этом я никогда не сомневался. Но сегодня я — блудный сын. Бегу и сам не знаю, куда и зачем? Вразуми меня, укажи мне верный путь и дай мне Тебя познать. Пусть это будет в тюрьме, но только бы не погубить мне свою душу. Я хочу знать Тебя, Боже, как Спасителя моей души...» Мне казалось, что мои намерения как раз по воле Божьей, и я успокоился.

В Барановичи поезд прибыл поздно вечером. До войны это был пограничный город. Теперь же мне еще нужно было проехать по одноколейке до Брест-Литовска. Оттуда начиналась европейская колея.

На следующее утро я уже был в Брест-Литовске. До границы оставалось 23 километра, но как их преодолеть? Это было для меня большой проблемой.

Из расписания поездов, вывешенного на стене станции, я узнал, что есть два поезда на Берлин, но оба в днев-

ное время. «Не проскочу ли я границу на поезде?» — подумал я и начал наблюдать, как происходит посадка.

Пассажирский поезд выходит из тупика, останавливается как раз перед вокзалом, а в это время человек 25 пограничников уже стоят наготове. Они делают тщательный обыск вагонов, заглядывают под вагоны, во все уголки. При посадке несколько пограничников внимательно проверяют документы. После посадки на ступеньку каждого вагона становятся пограничники и провожают поезд два километра. Там поезд замедляет ход, пограничники спрыгивают с вагонов, и поезд снова набирает скорость. Потом пограничники возвращаются в свое расположение, в огромную серую казарму вблизи станции.

Если бы поезда отходили ночью, можно было бы вскочить на крышу вагона с переходного моста. Другой возможности не было.

Наблюдал я также и за отправкой товарных поездов. И здесь все было предусмотрено. От глаз пограничников не ускользала ни одна мелочь — все было учтено и взвешено.

Со всей этой строгостью на вокзале уживалось много жуликов. У них я купил несколько талонов на обеды в столовой для демобилизованных. Я был удивлен, что среди жуликов много участников Отечественной войны.

— А что же делать? Вот живу, как придется, — ответил мне один, у которого я пробовал разузнать о границе. — Я тебе о границе ничего не скажу, а на счет малины — пожалуйста, — говорил он мне, позевывая. Жулики приняли меня, как своего, и уже пробовали вводить в курс дела.

Недалеко от станции был базар. Базар — это настоящее вавилонское столпотворение. На толкучке меняют, продают, выкрикивают, плачут, смеются; ругаются торговки семечками, а пьяные горланят песни. Возле гармониста собралась толпа любопытных. На каждом шагу надоедливо пристают цыганки:

— Позолоти руку, правду скажу. Дай хоть четвертак или кусочек хлеба. Дети умирают с голоду...

«Не погадать ли мне?» — подумал, было, я, но тут же эту мысль оставил. Что могла мне сказать цыганка? Предсказать неудачу? Но я еще в Смоленске твердо решил не возвращаться ни при каких условиях, а идти к намеченной цели. Кто может знать будущее, кроме Бога?

Вечером следующего дня из Берлина подошел эшелон с демобилизованными.

— Ура! Родина! — раздавались голоса на платформе. Военные, выскочив из поезда, как цыплята из лукошка, рассыпались во все стороны и тут же меняли барахло на самогон, предлагаемый из-под полы, пили, веселились. Было уже темно, когда я оставил станцию. В ближайшем сквере народ располагался на ночлег. Я тоже лег под кустом и крепко уснул.

Едва начало светать, как в разных концах сквера слышались голоса. Я посмотрел вокруг. Направо и налево от меня, развалившись, кто как мог, спали демобилизованные солдаты, приехавшие вечером из Берлина. Я приподнялся, чтобы оглядеться. Возле меня лежал кошелек. Взял я его, заглянул внутрь — пустой. Я встал, прошел к колонке выпить воды. В нескольких местах валя-

лись выброшенные кошельки. Я знал, что они пустые. Здесь ночью хорошо поработали карманники. Для них Брест-Литовск был действительно «малиной». Демобилизованные давно не были на родине и уже забыли, что Россия — не Берлин, не Австрия, не Чехословакия, что здесь надо беречь карманы.

К восьми часам утра перед кабинетом военного коменданта стояла длинная очередь. Все шли с заявлениями о пропаже документов, орденов, денег. Обычно документы жулики подбрасывали, а ордена продавали за бесценок.

В Брест-Литовске я прожил четыре дня. За это время я кое-что узнал, и 6 июня 1947 года я пошел в обход границы южнее Брест-Литовска. Других возможностей не было. Днем раньше я видел, как пограничники поймали человека в тендере паровоза. Он залез в воду. Вытащили его мокрым. Многие смеялись над ним, жалким, согнувшимся, плачущим. Плакало и мое сердце, ибо я знал, что это означало 25 лет каторги.

От Брест-Литовска я отъехал поездом на юг километров пятнадцать, сошел с поезда на небольшой станции, отошел в сторону и лег на траве «отдохнуть». Рядом желтела проселочная дорога. По ней только что проскакал на лошади пограничник. Облако густой пыли медленно оседало на траву. Солнце клонилось к вечеру. Приподняв голову, я заметил девушку. Она шла по меже своего огорода, выбирала огурцы и напевала песенку. Девушка тоже меня заметила, подошла ближе:

— Здравствуйте, молодой человек!

— Здравствуйте, красавица! — ответил я, словно спросонок.

— Вы простудитесь на сырой земле, — заметила она.

— Ничего, мы привыкли. Кто был солдатом, тот простуды не боится. Попить воды у вас можно? — спросил я.

Девушка пригласила меня в избу и подала стакан воды.

— Скажите, вас пограничники очень беспокоят? — спросил я у отца девушки. Он распрягал коня и незаметно поглядывал на меня.

— Нет, — отвечал он. — Пока ничего. Днем они стоят на вышках, а ночью патрулируют по двое. Мы их и не слышим.

— Тут, наверное, некоторые переходят? — осмелился я спросить девушку.

— Кто хочет, тот переходит, — ответила она мне и улыбнулась, вероятно, поняв мои намерения. Вот тут как раз между двух застав была старая дорога. Теперь, конечно, она закрыта.

— Спасибо, девушка, — сказал я, прощаясь. — Имени вашего я не знаю, да и знать не надо. Пусть Бог благословит вашу жизнь и вашего будущего мужа.



— А вы, значит, в Бога верите?

— Надо верить.

Я прошелся за городом, когда уже темнело. Начинили щелкать соловьи. Как только тьма скрыла очертания полевых, я перешел железную дорогу, за ней — шоссе. Вдоль дороги чернели столбы, очевидно, приготовленные для проволочного ограждения. Я спустился в долину. Передо мной появилась полоса распаханной земли метров пять шириной. Она едва освещалась восходящей луной. Что делать? Ждать, пока пройдут патрули? Но луна настойчиво пробиралась сквозь деревья. Нужно спешить.

Я шагнул на контрольно-следовую полосу, зацепил ногой провод, но, видно, слабо. Двумя прыжками одолел вспаханную линию. За ней лежали сухие сучья тальника. Короткий хруст сучьев — и я уже на луговой траве. Пробежал я несколько метров, и передо мной внезапно открылась река — Буг. Реку перешел вброд, и снова мокрый, дрожащий то ли от страха, то ли от холода, я несколько километров бежал бегом.

«Господи, слава Тебе! — молился я. — Значит, моя мечта сбылась: я перешел границу».

Вскоре начала одолевать усталость. Перед рассветом я лег на траву и моментально уснул. Проснулся, когда уже солнце поднялось высоко над рощей. За ней виднелась дорожка к хутору. Я свернул в сторону, выбрался на лучшую дорогу. Она привела меня на станцию Хотылово. «Вот она, советская Польша», — говорил я себе.

На станции почти все говорили по-русски. В ходу

русские деньги. Я решил пробираться к чешской границе поездами. На полдня остановился в Кракове, взял билет на Новый Тарг с намерением не доехать до последней станции, сойти и повторить предыдущий опыт. Но я просчитался. Я не сошел там, где было нужно, а поезд пришел в тупик. Пассажиров было очень мало, перед каждым вагоном появилась полиция. Я попался им прямо в руки.

— Ваши документы? — спросил меня патрульный и дернул за рукав.

Я показал им имевшийся у меня паспорт.

— Что ты тут делаешь?

— Работаю шофером при воинской части, которая стоит в Кракове.

— Знаешь что, друг, — сказал только что подошедший старший патруль, — если бы здесь не было границы, мы бы тебя отпустили. А так мы должны узнать, где твоя часть.

Конечно, никакой воинской части возле Кракова они не нашли и отправили меня в Новый Тарг, в тюрьму. Это была небольшая тюрьма, но решетки моей одиночной камеры были очень толстыми. В тюрьме сидело десятка полтора поляков. Вечером нас всех вывели на прогулку в тюремный двор. Я понял, что мне остается одно — во что бы то ни стало бежать. Я изучал всякую возможность для этого. В толстой каменной стене тюремного двора была уборная. Если стать на дверь уборной — можно взобраться на стену, а потом, накинув плащ или пиджак на колючую проволоку, перескочить на другую сторону заграждения

и прыгнуть со стены. Мне казалось, что таким путем я мог бы совершить побег днем, когда начальник уходит в кабинет. Но дверь в уборной держалась слабо, могла оборваться, и на это сразу же обратили бы вы внимание. Я накинул свой пиджак на заграждение, чтобы показать, что я убежал, а сам спрятался в тюремном дворе, в густых зарослях крапивника. Вскоре начальник загнал всех заключенных в камеры. Я лежал, едва дыша, и прислушивался к тому, что происходит в тюрьме. Начальник куда-то звонил. Пришли стражники, сняли мой пиджак, покачали головами. Начинало темнеть. В тюрьме все стихло. Я уже подумывал вставать и идти на приступ стены, но в это время вышел начальник тюрьмы с заключенным поляком. Поляк шел прямо на меня.

— Эй, ты, вылезай! — прокричал он.

Мне ничего не оставалось, как выйти из укрытия. Обозленный начальник тюрьмы тряс предо мной пистолетом:

— Я тебя застрелю, гад!

Меня сразу отправили в Краков под строгой охраной. Польский комендант встретил сурово, но когда он просматривал мои документы, с его лица сошла печать строгости.

— А это что такое? — спросил он, подняв на меня глаза.

В его руках была моя медаль за взятие Праги.

— Видишь, как оно получается, — сказал он по-русски. — Воевал, дождался победы, а теперь убегаешь? Наверное, там что-то натворил?

— Нет, я жил и работал честно, — ответил я.

— Ну а как там жизнь? — спросил комендант дружественным тоном.

— У вас в Польше лучше, — ответил я, не задумываясь.

— Сколько же там стоит кило сала?

— Сто пятьдесят рублей.

Комендант поднял глаза. Видно, подсчитывал, сколько это будет на польские злоты.

— О, это очень дорого! На мое жалование не проживешь.

После некоторого раздумья комендант спокойно добавил:

— А все-таки люди там живут да еще власть хвалят, что она самая лучшая в мире.

— Потому я и убежал, что хвалить власть не могу.

Я видел, что комендант сочувствует моему положению, но долг службы обязывает его препроводить меня в советскую комендатуру. Он вызвал охранника, и тот посадил меня в комнату с одной кроватью и закрыл на замок. Я упал на кровать. Хотелось плакать, молиться, просить о пощаде, но закон есть закон. Оставалось одно: искать другие пути для побега.

Моя камера была на втором этаже. Зарешеченное окно выходило во двор. Мне казалось, что ночью можно прогнуть решетку. Я лег на кровать, ожидая наступления ночи, но в это время дверь камеры открылась. Часовой отвел меня к советскому военному коменданту, молодому заносчивому капитану. Он допросил меня и в заключение сказал:

— Мы узнаем, почему ты пошел через границу и кто

там тебя ожидает. Мы узнаем, кому ты служишь! Таких продажных субчиков мы уже встречали.

Часовой отвел меня в подвал, грубо втолкнул в камеру, где не было ни одного окна. Тяжелый подвальный воздух, духота и непривычная гробовая тишина действовали угнетающе. Однако я не терял надежды, что когда-нибудь мне представится случай бежать. Пусть с риском для жизни, но бежать я должен. Жить пленником — лучше не жить.

Постепенно глаза привыкли к темноте. Я начал исследование двери и нашел, что хотя дверь железная, но висит на двух завесах, — не тюремная дверь. Мне казалось, что если хорошо, с упором взяться за нижний край двери, она прогнется.

Хмурый пожилой часовой принес мне обед. На все мои вопросы он молчал, но, уходя, проронил:

— Завтра жди отправки в СМЕРШ. (Особый отдел КГБ — «Смерть шпионам».)

С большим волнением я ожидал ночи. Когда наступила темнота и все в коридоре улеглось, я сел на пол, подsunул пальцы под дверь, уперся ногами в косяки и потянул дверь. Дверь начала медленно прогибаться — сантиметр, два, три... Неожиданно раздался треск металла. Я прислушался. По коридору бежал часовой. Он открыл дверь, осмотрел камеру, на согнутую дверь не обратил внимания.

— Воздуха не хватает! — сказал я.

— Я вот тебе накачаю воздуха, если еще поднимешь шум, — пригрозил часовой и щелкнул замком.

Утром я постучал в дверь.

— Ну, чего надо? — спросил уже другой часовой.

— Дышать нечем.

Он вывел меня на прогулку. Через приоткрытые ворота я приметил часового с автоматом — он стоял у дверей и посвистывал.

— Пойдем в подвал, я в коридоре пройдуся, — попросил я часового.

— Чего так?

— Солнце спит.

Часовой был не из войск МВД, а простой красноармеец. Он даже пробовал со мной разговаривать:

— Ну и дурной же ты, парень. Надумал через границу бежать... Да разве это мыслимо — убежать из СССР?! Вот и засыпался...

— А что мне теперь будет? — спросил я.

— Откуда я знаю? Ты это лучше меня знаешь.

Я взялся за метлу и начал делать в коридоре уборку. Я указал на приоткрытую комнату, полную мусора:

— Надо бы и там убрать...

Часовой, не раздумывая, шагнул в комнату глухого подвала, чтобы посмотреть, что нужно убирать. Я щелкнул дверью и бросился бежать: прыгнул с коридорного окошка в сад и сразу же оказался на улице. Было утро. По пыльной улице польские крестьяне ехали на базар. Кое-где на углах продавали фрукты. Я шел, не чувствуя под собою ног. Это был мой счастливый день — 14 июня 1947 года.

Я сразу же свернул на окраину города, пошел через черешневые сады, на ходу утоляя жажду черешнями.

«Слава Тебе, Господи, слава Тебе! — застыла молитва на моих устах. — Как все хорошо получилось!»

Я зашел в ближайший дом, не торгуясь, продал свой плащ. Теперь я имел деньги, чтобы купить хлеба, побриться, и еще несколько золотых осталось. Вспомнил, что возле Катовице есть станция Пудник. Там близко подходит граница Чехословакии.

Без затруднений я добрался до этой станции и в первую же ночь перешел границу, даже не заметив, где именно эта граница проходила. Думаю, что границей была глубокая лощина, поросшая густым кустарником. В лощине я видел провод, натянутый на высоте одного метра.

До конечной цели было уже близко. Еще одна граница — и я буду в руках американцев. «Но не выдадут ли они меня?» — думал я дорогой.

В Чехословакии по сторонам хороших шоссе́йных дорог росло много фруктовых деревьев. Я целиком перешел на «подножный корм», стараясь по возможности избегать встреч с людьми. Кое-где, однако, удавалось ехать поездом. Добрался до города Оломоуц. Мне еще удалось проехать до станции Червенка, но не успел я отойти от станции и ста метров, как навстречу мне вышли двое чешских полицейских.

— Документы! — спросили они у меня по-чешски.

Никаких документов у меня теперь не было. Меня сразу арестовали.

«Значит, Бог меня явно наказывает, — решил я. — Прододелал такой большой путь, преодолел столько пре-

пятствий, а здесь, уже почти у цели, меня опять накрыли».

На меня надели наручники, которых я раньше никогда не видел. На первом допросе чешский начальник приказал:

— Сними рубашку! Подними руки!

Он долго и внимательно осматривал, нет ли у меня вытравленной эссесовской наколки, и, ничего не обнаружив, смягчил гнев.

— Ты кто такой? — добивался он.

— Старый русский эмигрант.

— Почему же ты не старый?

— Потому что мне было два года, когда меня вывезли из России.

— Где войну провел?

— Работал на немецких фабриках. Боялся в Россию ехать, а вот теперь решил вернуться на родину.

Чехи проверили, нет ли моей личности у них в розыске, и я оказался вне всяких подозрений. На второй день они меня выпустили на работу под присмотром полицейского.

— Ну, друзья, тут я от вас убегу, — радовался я.

Но оказалось, что уверенность моя была напрасной и радость преждевременной. Видно, нужно было больше молиться Богу и надеяться на Него.

С раннего утра мне нездоровилось, а как только пришли в поле на работу, у меня из носа пошла кровь. Полицейский не раз удалялся от меня, но я истекал кровью.

«Бежать?» — думал я. — Что же будет со мной, когда

я в побеге разогреюсь? Потеряю силы, упаду... Нет, отложу до завтра».

После обеда за мной приехал полицейский и увел на допрос. Кровь у меня остановилась, но бежать было уже поздно.

Утром следующего дня на меня снова надели наручники и отправили в гражданскую тюрьму, которая называлась «Штирка». Я знал, что через две недели меня должны передать советским властям. Значит, если не убегу из рук чехов, из советских рук не убежать. В голове стоял один вопрос: «Как бы мне задержаться у чехов?»

Те заключенные, кто виноват перед чешской властью, отбывают наказание на месте, независимо от национальности. И мне пришел на память случай. В 1945 году я с друзьями, на небольшом дизеле, ездил в командировку в Польшу через Чехословакию. Однажды мы остановились переночевать в чешском местечке. Оказалось, что у соседа нашего хозяина какой-то пьяный русский шофер сбил машиной единственного сына и скрылся. С тех пор этот сосед лютой ненавистью ненавидел русских. В моей голове мелькнула идея, и я постучал надзирателю:

— Веди меня к референту (следователю).

— Что случилось? — спросил он.

— Я дам показания.

— Гражданин следователь, — начал я, — дело такое: я знаю, что вы меня скоро передадите на родину. Но у меня не в порядке совесть...

Следователь смотрел на меня удивленными глазами, слушая внимательно и серьезно.

— В 1945 году я был в армии шофером и вот, подвыпив, убил молодого парня — чеха — и скрылся. Я хотел бы принести извинения его родным. А тогда уж спокойно поеду на родину.

Следователь записал версию моего рассказа и сразу же сделал запрос по месту моего «преступления». Он вызвал меня снова через два дня и зачитал ответ. Все факты подтвердились, родители погибшего мальчика хотели приехать в Прагу и посмотреть на «убийцу» их сына.

На утро меня перевели в другую тюрьму — огромные четырехэтажные корпуса, называемые «Панкрац». В тюрьме меня зарегистрировали как Смирнова, 1925 года рождения, русского, евангелиста. Меня посадили в маленькую одиночную камеру. «Слава Богу и за это, — думалось мне. — Подальше от советских властей».

В тюрьме выводили на прогулку, но бежать из нее — немислимое дело. Об этом нечего было думать, и я взялся за чтение книг из тюремной библиотеки.

Мне принесли «Анну Каренину» Толстого. Эта книга возбудила во мне много мыслей о вере в Бога, в Его справедливость и всемогущество. Грех должен быть наказан. И я терпел это наказание. Мои страдания — расплата за грехи. Я родился и вырос в глубоко религиозной семье. В 1933 году отец был осужден на 10 лет за религиозные убеждения, брат пострадал за это же, и даже сестра, студентка института, глубоко верила в Бога и молилась. А я? Молюсь, когда из тюрьмы нужно бежать, а когда все хорошо — Бога будто вообще нет. И я решил три раза в день молиться Богу, молиться вслух, благодарить Бога

за жизнь, просить о вызволении. Каждую молитву я заканчивал словами: «Господи, если Ты выведешь меня из неволи, всю оставшуюся жизнь я посвящаю Тебе. Я постараюсь приложить все силы, чтобы жить праведно. Только бы выбраться в безопасное место...»

Я жил в одиночке второй месяц, вспоминал былые дни, опасности, из которых выводил меня Бог, хотя я вовсе не был достоин этого.

Вскоре меня перевели в подвальное отделение, откуда заключенных берут на работы. Это окрылило мои надежды на побег. Мне выдали тюремную одежду, поместили в общую камеру. На второй день я попал на работы вне тюрьмы. На окраине Праги шла стройка. Заключенные копали котлованы для домов. Сбежать проблем не было, однако одно препятствие существовало — полосатая тюремная одежда. Если бы у меня были хотя бы брюки, можно было бы рискнуть.

Я решил завтра же захватить у знакомого подходящие брюки, а вместо колодок надеть ботинки и тогда при любых обстоятельствах — бежать. Но уже вечером в камеру пришел полицейский и объявил, что на завтра мне назначен суд.

Это известие меня ошеломило. Как я глуп! Сам пришел в тюрьму! Надо было бежать даже в полосатой одежде. Господь давал возможность, а я проспал...

Друзья по камере видели мое волнение, успокаивали: — Чего волноваться? Дадут пару месяцев, возьмут в рабочую команду, вот и все.

Но это были только мечты. Суд не вынес решения.

Мою просьбу оставить меня в Чехословакии отклонили. Сразу же после суда меня на грузовой автомашине повезли в тюрьму «Штирка». Полицейский сидел за рулем, охранник — в кузове рядом со мной. «Ну, — думаю, — это моя последняя возможность бежать. Видно, другого слушая не будет. Надо прыгать с машины...»

На первом же повороте, как только машина замедлила ход, я прыгнул и свернул в первую же улицу. Я быстро ее пробежал. За мной неслись крики:

— Хить-хо! Хить-хо!

По всем улицам поднялась тревога. Случайные люди начали меня ловить, кто-то подставил ногу, но я умело отбивался, пока проходящий автомобиль не стал у меня на пути. Несколько человек набросилось на меня с кулаками, начали крутить руки.

Мне кажется, что если бы в этот момент был у меня пистолет, я бы стрелял в каждого. Моя озлобленность на людей дошла до предела. Подбежали полицейские. Собралась толпа. Все смотрели на меня сердито, как на преступника. Не знаю, откуда взялась у меня смелость, но я поднял голову и, смело глядя в глаза людям, начал громко выкрикивать:

— Братья-чехи! Я не вор и не убийца! И я убежал не от вас, а от Сталина, а вы меня поймали. Помните же, братья-чехи, что придет время, когда многие из вас окажутся в Сибири и будут оттуда бежать, как убегаю я. Знайте, что Сталин — не отец, а душегуб.

Люди слушали меня внимательно, и выражение их лиц менялось, хмурость уступала место сочувствию, а какая-

то женщина громко заплакала. Некоторые из тех, кто крутил мне руки, поняв, в чем дело, опустили головы.

Меня привели в ту же машину, положили в кузов лицом вниз и в таком положении привезли в тюрьму. В камере сидело несколько человек, из них двое оказались русскими. Это меня немного ободрило — все-таки свои люди. Один из них после окончания войны не пожелал возвращаться на родину, устроился на заводе токарем и жил себе потихоньку, пока власти не узнали, что он не чех, а бывший советский подданный. Теперь его посадили, чтобы передать советским властям. Другой — из Братиславы, простой рабочий. Я им рассказывал о своих неудачах.

— А чего же бежать? — спросил бывший токарь. — Ведь советская власть теперь изменилась, строго не наказывает.

— Нет, друзья мои, участь наша одна: двадцать пять лет каторги.

О побеге я теперь уже не думал, а только твердил про себя: «Так тебе и надо. Это тебе школа».

Теперь мне казалось, что освободить меня может только война и перемена власти — и ничто другое. Бог мне теперь не поможет. Он на меня сердит. Значит, на мне какое-то проклятие... Видно, Бог предназначил мне страдания, и прыгать некуда. Терпи и жди. Я два месяца в тюрьме ежедневно молился, а в ответ на мои молитвы — такая неудача! Бог меня не слушал, Он занят небом, а не землей.

На следующий день охранник принес в камеру Биб-

лию на русском языке. Это меня весьма удивило. Друзья мои смотрели на Божье Слово с недоверием, а я принялся за чтение Библии с большим интересом и с самой первой страницы. Я читал историю об Иосифе, а думал о себе: наверное, у меня еще не все потеряно. Ведь вот Иосиф был не в лучшем, а в худшем положении, а вышел большим человеком, даже правителем. Но Иосиф верил, любил Бога, а я утерять и ту веру, что имел.

Библию мне прочесть не удалось. Нас троих вызвали на «транспорт». Советский капитан и четыре человека охраны сковали наши руки одной цепью, посадили в ряд на американскую машину.

— Ну, соколики, слушайте приказ, — сказал капитан строго и, раскрыв бумагу, прочел: «Отныне вы переходите в распоряжение советского конвоя. За малейшее неподчинение конвою или попытку к бегству конвой имеет право применять оружие без предупреждения».

— Ясно, соколики? — спросил он в заключение.

Мы промолчали.

ПО ТЮРЬМАМ И ЛАГЕРЯМ

Квечеру нас привезли в город Брно, на ночь сдали в тюрьму, а утром повезли дальше.

— Хорошо, что теперь возят. Раньше гоняли этапами. Пешком... — пробовал утешать нас старший по возрасту, токарь.

— Не разговаривать! — приказал конвоир.

И мы опять замолчали на весь день. Я любовался осенней угасающей природой и думал, что вот так, наверное, угаснет и моя молодая жизнь, сгорит моя юность по лагерям и тюрьмам.

Еще больнее стало на сердце, когда переехали австрийскую границу, и я увидел знакомые места, где когда-то ездил на автомобиле, гулял, отдыхал, загорал, купался. А теперь — ни единого луча надежды.

Нас привезли в расположение военной части и посадили в подвал. Ночь спали на голых досках, а наутро нас зарегистрировали, остригли, срезали пуговицы и разместили в разных камерах подвала.

В камере меня встретили семь человек — измученных, бледных, живых трупов.

— Откуда? Как? За что попался? — начинались расспросы.

От узников я узнал, что мы находимся в городе Бадене, в восемнадцати километрах от Вены, в штабе контрразведки центральной группы советских войск, в поме-

щении большого отеля, обнесенного колючей проволокой и высоким деревянным забором. Между проволочным ограждением и забором — сильная охрана. На верхних этажах — комнаты следователей.

Все в камере были не русские, и все, кроме меня, надеялись на освобождение. Один из них, австрийский профессор, обвинялся в шпионаже. Он объявил голодовку.

— Должен же я доказать, что я невиновен! — говорил он мне шепотом. В камере можно было разговаривать только шепотом.

Я рассказал ему, как в 1933 году моего отца осудили на 10 лет за веру в Бога, как мы, дети, падали к ногам чекистов, арестовывавших отца, и слезно просили:

— Оставьте нам нашего папу.

Профессор мне не верил. Не верили и другие. Они не знали сталинского режима.

Я ожидал суда. Хотелось, чтобы как можно скорее решилась моя судьба. Расстрелы в то время были отменены, но их могли возобновить в любое время, как не раз уже делалось. Я решил ничего не скрывать, рассказать всю правду, но скрыть жизнь в Смоленске, чтобы никого не вешивать.

Рядом с нашей камерой, в подвале, находился карцер. Туда бросали тех, от кого хотели добиться полного признания. Ночью не раз просыпались мы от стонов и криков. Кого-то пытали. На эти стоны никто в камере не обращал внимания. К ним уже привыкли. Привыкал и я.

Однажды в нашу камеру вошел надзиратель в чине сержанта. Он долго и пытливо оглядывал нас колючими серыми глазами. Взгляд остановился на мне.

— Вот ты, — указал он на меня пальцем, — давай, пошли!

В коридоре уже стоял «выводной» с пистолетом за спиной.

— Иди направо!

— Прямо!

— Голову не поворачивать!

— Налево!

Меня привели в комнату следователя, большого, грузного, широкоплечего «дяди», стриженного под ерша.

— Садись! На вот, прочитай и подпиши.

«...Обязуюсь давать точные показания, на вопросы следователя отвечать добросовестно и честно. В противном случае советские следственные органы имеют право применять меры принуждения...» — читал я, и в глазах у меня двоилось от слез.

— Слушай, — начал следователь, — если твои показания будут верными и точными, суд сделает снисхождение. Учти.

Это были, конечно, только красивые слова. Суд судил вероломно: без защиты, без права на обжалование.

Я рассказал следователю всю свою биографию до мельчайших подробностей, но там, где я должен был сказать о своей работе в Смоленске, пришлось сделать «обход»:

— ...Потом я поехал в Западную Украину и в районе Ужгорода перешел границу с Чехословакией. Скитался год, пока не попался. Хотел уйти на немецкую сторону, но никак не удавалось.

— Это все? — спросил следователь более дружелюбно.

— Все.

— Хорошо. В другой раз дополнишь. Куришь?

— Нет, спасибо.

— Теперь напиши мне на бумаге обо всем, что ты мне рассказывал. И подпишись.

Писал я долго. Следователь сидел в кресле, просматривал газеты и журналы, иногда поглядывал на меня. Как только я подписал свои показания, меня сразу же отвели в камеру.

— Принес закурить? — раздался голоса, едва я переступил порог камеры.

— Нет.

— Почему?

— Да я же не курю!

— Эх ты, растяпа! — раздалось ругательства. — А мы что? Не люди? Нам бы принес.

Узники страдали от желания покурить, за одну затяжку отдавали половину своего пайка. Хорошо, что это зло не имело надо мной власти. Спасибо родителям.

Два раза вызывал меня следователь на короткие вопросы. Был сентябрь, но какой день — никто из нас не знал. Да и неинтересно было знать. Какая разница для меня — понедельник или вторник?

В камере я подружился с ростовским парнем. Его обвиняли в шпионаже. Он служил в оккупационных войсках в Австрии, познакомился с австрийской девушкой, полюбил ее искренне и горячо, как может полюбить простой колхозный парень. Однако жениться на австрийке он не имел права, и девушка предложила ему (парня звали Виктором) уйти в американскую зону оккупации и там пожениться. Виктор согласился. Они перешли границу, но устроиться на работу в Австрии было трудно, и Виктор занялся спекуляцией. Его задержала английская полиция, и как только выяснилось, что он русский, бывший военнослужащий, — передала советским властям. Виктор падал на колени, просил, молил со слезами английского капитана оставить его в Австрии, наказать его, как угодно, но только не передавать советам. Капитан высокомерно улыбался, покуривал сигару и говорил:

— Гут, гут, вери гут.

Теперь Виктор ругал и проклинал англичан каждый день, даже во сне:

— Ох, и сволочи же эти англичане. Я им говорю: «Не отдавайте меня Сталину, он меня сразу съест, будет мне крышка». Обещали. А что получилось? Если бы была с ними война, я бы добровольно пошел на фронт и бил бы их до последнего патрона, зубами бы рвал. Тоже мне, демократия...

Вскоре Виктора вызвали в суд, но через час привели в камеру.

— В чем дело, Виктор?

— Да как же? Я ведь подписал признание, что я шпи-

он. Ты знаешь, как они мне руки ломали? У них и мертвый подпишет. А какой же я шпион?

— Значит, оправдали?

— Да нет же, — говорил Виктор деревенским говорком. — На суде спросили: «Ты шпион?» — «Шпион», — говорю. «А ты знал, что за это дают двадцать пять лет?» — «Ну знал». — «Ты же за двадцать пять лет сдохнешь в лагере!» — «Конечно, сдохну...» А что сделаешь, если следователь позвал двух дядек, а они давай мне руки ломать... Ну я и наговорил ему про шпиона. А какой же я шпион? «Иди назад в камеру», — сказал мне полковник, старший в суде. Не знаю, что теперь будет. Полковник, видно, добрый человек, хотя и чекист. Я ему говорю: «Хорошо, начальник, я пойду в камеру, но вы дайте мне сначала закурить». Все в суде посмеялись, дали мне закурить. А когда я выходил, то слышал, как начальник говорил: «Таких дураков англичане в шпионы не берут». Ну и пускай я буду дурак!

Через несколько часов вызвали в суд и меня. Были зачитаны ответы на запросы, так называемые «характеристики». Из армии писали: «Смирнов Михаил имел плохое поведение и едва не попал под суд». Из Бобровки писали: «Козлов Михаил разыскивался с 1943 года». Из Каунаса писал мой «друг»: «Смирнов Михаил знаком мне по армии. В Австрии он имел широкие связи с местным населением, представители которого перед ним снимали шапки».

Судья задавал вопросы:

— Расскажи нам о своей связи с австрийцами. Почему они снимали шапки?

— Что же рассказывать? — отвечал я. — Западный человек — не то, что русский. Австрийцу дай полтинник на чай, так он не раз, а пять раз поклонится и шапку снимет.

— Ты рассуждаешь, как советский человек, а что же ты натворил? — сказал судья.

— Если бы вы меня освободили, я теперь был бы самым лучшим советским человеком.

Члены суда рассмеялись:

— Да разве можно такого преступника выпустить? Тебя нужно запрятать в такое место, чтобы ты даже никогда не подумал бежать со своей родины.

Зачитали также ответ на запрос в родное село. В нем указывалось, что мой отец был чуть ли не помещик, имел паровую мельницу, хороших лошадей.

— Гражданин судья, все это неправда, — начала я. — Мой отец — простой, бедный крестьянин, столяр и плотник. А паровой мельницей владел кто-то другой. Она была разрушена в революцию, и мы, дети, играли в ее развалинах.

— Выходит, что советские органы пишут неправду? — строго спросил судья.

— Так выходит...

— Ишь ты, какой упорный! А свидетели на что?

— Какие свидетели? От нашего села ничего не осталось.

— Почему?

— Потому что в селе были большие бедствия. Людей арестовывали, ссылали, многие сами разбежались. Тогда я был мальчиком и не знаю, почему так было...

— Ты, видно, хочешь, чтобы мы прибавили тебе еще одну статью? — прервал меня член суда.

— Нет, я этого не хочу, но я думал, что на суде можно обо всем говорить откровенно. А если нет, то прошу извинения.

На другой день меня вызвали снова. За столом сидел прокурор в чине полковника, начальник следственного отдела — майор и еще несколько членов.

— Встать! — приказал прокурор.

Он прочел некоторые ответы на запросы, касающиеся моего брата, осужденного за отказ брать оружие.

— Видно, вся семейка — вражеское гнездо. Тут говорить нечего, — заключил прокурор, и тут же все члены суда встали. Зачитали приговор:

«...Михаил Козлов... за измену Родине во время войны, за переход на сторону врага, за активное участие в борьбе против Красной Армии приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу».

Прокурор сделал паузу, бросил на меня строгий взгляд и продолжил:

«...Однако в виду указа правительства номер такой-то об отмене смертной казни военный трибунал присуждает к двадцати пяти годам трудовых лагерей с поражением в правах после отбытия наказания в течение пяти лет. Приговор обжалованию не подлежит».

Это было 19 декабря 1947 года.

Меня сразу же отправили в камеру осужденных. Вней сидел лейтенант, осужденный за сокрытие судимости отца.

— Ну, братишка, — начал он, — ты счастливый. Сегодня окно в камеру вставили, а то ведь я три ночи не спал. Снег через решетки заносило, параша замерзала. А сегодня вот и печку поставили...

— Это они для меня, для двадцатипятилетника стараются, — сказал я, греясь у печки.

После суда настроение у меня поднялось. Закончилась неопределенность. Было ясно, что меня может освободить только война, и узники часто об этом говорили:

— Эх, Америка, Америка, выдаешь ты свободолобивых людей советам, а не знаешь, что тебя ожидает. Если есть Бог, Он накажет тебя за несправедливость. Проглотит тебя Сталин...

Через три дня нас отправили в Венгрию, в многоэтажную и мрачную тюрьму города Шапрон. В маленькую одиночную камеру посадили семь человек. Стояли сильные холода, а я был в одной гимнастерке. С нами никто не имел права разговаривать, на нас только орали, как на скотину, озлобленные охранники. В эту тюрьму собирали осужденных трибуналом со всей центральной группы советских войск. Каждые два месяца отправляли эшелон с осужденными в СССР. Ждать его долго не пришлось. Через два дня нас выгнали во двор тюрьмы. Нас принял усиленный спецконвой. Для раздетых привезли старые фуфайки, брюки, белье. Конвой отказывался брать на этап раздетых, и хмурому, злому начальнику тюрьмы невольно пришлось нас одевать. Во дворе тюрьмы я увидел, что осужденными были, в основном, военные, главным образом, — офицеры. Среди нас был

один генерал в запасе — в кителе с обрезанными погонами и пуговицами. Он выглядел комично, и многие шутили:

— Товарищ генерал, а где ваш начштаба?

Он злобно ругался, плевался, а чаще всего — молчал.

Нас усаживали на грузовики вплотную — так, что нельзя было и голову повернуть. Борта закрыли наглухо, и мы погрузились в темноту. Борт вагона открывали с криками:

— Бегом по трапу в вагон, марш! Не останавливаться! Не разговаривать!

Нас разогнали по клеткам железных вагонов. Охрана сквернословила на каждом шагу, толкала нас в камеры и закрыла двери на замки. На крышах вагонов я приметил пулеметы, а между вагонами — специальные площадки для часовых.

— Ничего себе, — говорил мой друг, лейтенант (он имел несколько наград). — Так скотину возят на убой, а мы все же люди...

— Дудки сбежишь, — шептались узники.

Через решетки вагонов можно было видеть, как плыли поля, луга и сады, убеленные первым снежком. Мне удалось взглянуть одним глазом на Будапешт. Третий раз я проезжал по этой дороге, и каждый раз в разных обстоятельствах: с немецкой воинской частью, демобилизованным из Красной Армии, а теперь — заключенным под строгим конвоем.

За решеткой вагона тихо падал снег. Короткий день проходил быстро, и мы снова погружались в темноту холодной ночи. Каждый думал о том, что ждет его впереди, как примет родина-мать?

РОДИНА ВСТРЕЧАЕТ

Нас привезли во Львов, в известную всем лагерникам пересыльную тюрьму, или просто — «пересылку». Через эту «пересылку» проходили все, осужденные трибуналом. Нас посадили перед воротами тюрьмы на землю в ожидании «приема». Оказалось, что с нами на этапе было несколько женщин. Теперь они сидели на своих узелках и чемоданах. Вероятно, их осудили без конфискации «имущества». Все их «имущество», однако, за несколько минут оказалось в руках заключенных. Напуганные уголовниками, они кричали:

— Начальник, начальник!

На их крики никто не обращал внимания. Одна из них была англичанкой. Она села на чемодан и крепко держала его руками. Но ей не удалось спасти свои вещи. Она плакала, кричала, рвала на себе волосы. Содержимое чемодана сразу же обменивалось у конвоя на курево.

Целый день, 31 декабря 1947 года, мы сидели на холоде.

— Открывай тюрьму, начальник, — подавал свой мощный бас генерал. — Мы тоже люди, не скоты.

Конвоир ему ответил:

— Настоящие люди борются за коммунизм во всем мире, а вы — враги человечества. Вас никто за людей не считает.

Под вечер началась проверка по формулярам. Каж-

дый называл имя, фамилию, статью и конец срока. На последний вопрос я ответил: «1972 год», и горько улыбнулся. Кто может дожить до 1972 года при таком режиме?

Львовская пересылка состояла из двух десятков огромных стандартных двухэтажных корпусов и одного корпуса «модерного» — настоящей тюрьмы. Все эти здания обнесены каменной стеной, на стене — вышки с охраной. В это время в «пересылке» было шесть тысяч заключенных. Нам говорили, что число заключенных в летнее время доходило до четырнадцати тысяч. С «пересылки» заключенных отправляли по разным этапам. Режим был суровый, но кормили сносно. Смертность доходила до десятка человек в день. В «пересылке» царила тяжелая власть уголовников, их полный произвол. Обслуживающий персонал и внутреннее начальство — из заключенных. Нар не было. Спали на цементных полах, вплотную, как сельди в бочке. Ночью переворачивались на другой бок по команде.

Уголовники, как правило, раздевали всех новоприбывших. Мы, бывшие военные, попробовали воспротивиться:

— Вы что, шпана, думаете, мы — колхозники? Мы вас так разденем, что кожи на вас не будет.

Но не тут-то было. Уголовникам этот ответ не понравился. Они буквально озверели, бросились в драку. На стены камеры брызгала кровь. Военные одержали победу, и, таким образом, на этот раз моя одежда уцелела.

Уголовники политических ненавидели лютой ненавистью, всех называли фашистами, врагами народа.

Через неделю всех «двадцатипятилетников» отделили и посадили в так называемые «режимные корпуса». В эту категорию попал и я. В камерах были двухъярусные нары. Как только я вошел в камеру, с верхних нар слез верзила-уголовник. Он подошел ко мне и глухо прошипел над ухом:

— Раздевайсь!

— Ты кто такой? — спросил я.

— Вот кто! — он поднес к моему лицу огромный кулак.

В это время кто-то с верхних нар ударил меня по голове мешком, двое других били пинками, третий схватил меня за плечи.

Из сокамерников никто меня не поддержал, и я сдался. Уголовники сняли с меня брюки, рубашку, фуфайку, а взамен дали короткие, как трусы, штаны без пуговиц и рваную, заплатанную рубашку. После меня раздевали других, и другим давали такую же «подменку».

В камере, величиной в обыкновенную комнату, сидело пятьдесят-шестьдесят человек. Несмотря на мороз, окно было открыто круглые сутки, но все равно стояла невероятная духота, не хватало воздуха.

В нашей камере было несколько иностранцев. Для них этот режим был диким и невыносимым, некоторые плакали, как дети. Я спросил одного по-немецки:

— Чего плачешь? Москва слезам не верит.

— Плачу оттого, что я дурак, — ответил немец.

— Почему так говоришь?

— Я был при Гитлере коммунистом-подпольщиком, а теперь, видишь, где оказался?

— За что?

— Не угодил Сталину.

Для нас, советских людей, выросших в больших трудностях и лишениях, тюремный режим не был так мучителен, как для иностранцев. Некоторые из них сходили с ума. Среди нас ходила поговорка: «Зачем умирать сегодня? Лучше завтра». Каждый, как зверь, боролся за свое существование.

Наши головы и бороды остригли в бане машинками. Два раза в день выпускали «на оправку» в уборную. В режимном корпусе сидели также женщины. Их камеры были строго изолированы, но во время «оправки» бывали случаи, когда корпусного уговаривали выпустить к нам женщин. И женщины шли открыто, бесцеремонно, как животные. Несколько раз людей набирали в этапы. Наконец меня вызвал инженер спецэтапа.

— Ты электрик? — спросил он.

— Да.

— Липовый или настоящий?

— Настоящий.

— Закон Ома знаешь?

— Еще бы! Во сне помню.

Через десять дней меня, как и других, проходивших комиссию, отправили в баню с прожаркой одежды.

— Значит, готовят к этапу! — догадывались мы.

Нам дали одежду получше, и всех сорок человек посадили в вагон. На душе было радостно, что за два месяца отделался от «пересылки». Другие сидели в «пересылке» по году, по два и больше.

Теперь я хорошо знаю, что значит «стольпинский» вагон. В нем так же, как в других вагонах, есть «купе», но они отделены от коридора решеткой. Дверь открывается только при посадке и высадке, а в остальных случаях пользуются «лазейкой» — узкой щелью. Она также замыкается, как и дверь, но для наших нужд ее открывают. Вагон был так переполнен, что мы, мучимые духотой, сняли рубашки, а потом и штаны.

— Пить, пить, пить, — умоляли мы конвой, но воду нам давали только на больших станциях и то по одной кружке на человека.

На все наши просьбы у конвоя был один ответ:

— Прекратить разговоры!

Мой друг снял с плеч хорошую гимнастерку и отдал ее конвоиру за кружку воды.

Нас привезли в Киев. Киев — красивый город, но что нам до красоты города, когда нас снова ночью переправили в «пересылку». В ней были большие высокие камеры с тяжелыми дверями. Нар не было. Все искали место на полу, но мест для всех не хватало.

Как-то проходил по коридору начальник «пересылки». Ему начали кричать:

— Гражданин начальник! Нам тесно, ноги нельзя вытянуть...

— Ничего, вы тут долго не будете. Вас отправят по этапам, и там вы ноги вытянете, — басил он.

В киевской «пересылке» порядок и дисциплина были строжайшими. Обслуживающий персонал — военные, строгие, хмурые, молчаливые люди. Я был рад, когда че-

рез пять дней нас снова закрыли в «стольпинском» вагоне и повезли дальше. Выгрузили в Одессе, в так называемом лагере № 98. Лагерь был расположен на берегу моря, и до камер долетало свежее дыхание морского прибоя.

В лагере было пятьсот пятьдесят пять человек заключенных, и все работали на восстановлении судостроительного завода. «Двадцатипятилетников» на работу не брали. Таких было только трое: я, молодой лейтенант из оккупационных войск и бывший военный шофер по фамилии Серов. Он сидел за убийство командира батальона, его жены и детей. Истории подобных преступников вначале меня очень интересовали, но потом я перестал их слушать: их было слишком много.

В лагере строилось два барака. Нам, «двадцатипятилетникам», пробовали было давать работу, но никаких инструментов в руки брать не разрешали. Это меня очень угнетало. Значит, и меня приравнивали к убийцам. «Ничего не сделаешь, — думал я. — Надо терпеть, надо учиться жить, надо страдать во искупление грехов, которых я успел натворить».

В лагере уважали тех, кого все боятся. Я жил тихо и мирно, никого не обижал, и это многих удивляло.

— Какой-то ты странный «двадцатипятилетник», — удивлялись заключенные. — Даже постоять за себя не умеешь.

Однажды лагерный повар подошел ко мне и говорит на ухо:

— Ты почему за добавкой не подходишь? Имеешь двадцать пять лет и голодаешь... Подходи, я тебе всегда баланды лишней черпак плесну.

Все время мы проводили на нарах. В бараках было много талантливых рассказчиков, людей грамотных, одаренных. Некоторые по памяти пересказывали наизусть произведения классиков, другие интересно рассказывали о своих похождениях во время войны. Среди заключенных было немало бывших партизан из бригады Ковпака. Им было о чем рассказывать.

Через два месяца «двадцатипятилетников» оказалось шесть человек. Всех нас перевели в так называемый «режимный» лагерь — пром. ИТК № 6 (исправительно-трудовую колонию № 6), расположенный на северной окраине Одессы.

Огромная территория колонии была огорожена каменными стенами. Одна стена примыкала к одесской тюрьме, там сидели подследственные. Огромная стена отделяла зону от производственной территории. В жилом секторе находился огороженный проволокой корпус «пересылки». Почти каждый день в «пересылку» прибывали новые партии людей. Этап за этапом их куда-то отправляли. Я часто думал: «Господи, откуда столько заключенных? Кажется, им нет числа».

«Двадцатипятилетников» разместили в трехэтажном корпусе. В большой камере были трехэтажные нары. Политические сидели в отдельных секциях. К ним относились лучше. Они усердно, на совесть, работали. Краж и убийств в секции не было.

В этой тюрьме я впервые встретился с особым классом заключенных — малолетками. Они жили отдельной кастой, жили дружно, но по отношению к другим вели себя деспотично. Если кто-нибудь тронет или обидит малолетку, тогда — беда. Они обязательно отомстят. В первый день меня поразил такой случай: на скамейку присел пожилой, недомогающий заключенный. К нему подошел малолетка, толкнул его в бок и вызывающе начал:

— Эй, ты, пахан, дай малолетке пожить!

Старик с трудом поднялся и без единого слова уступил ему место.

Позднее я спросил старика:

— Почему вы не дали пацану в рыло?

— Ты что? С ума сошел? — ответил старик. — Эти же малолетки меня бы со свету сжили.

За что судили малолеток? За побег из школы ФЗО (фабрично-заводское обучение) давали год тюрьмы. Один ученик 7-го класса нарисовал карикатуру на Сталина и повесил ее на стене школы. Ему дали три года исправительных лагерей. Но лагеря не исправляли, а делали из них закоренелых преступников — уголовников.

Меня перевели в строительную бригаду. В производственной зоне строили большой двухэтажный дом, нужны были рабочие. Несколько дней я таскал по трапу кирпичи или носилки с раствором цемента. С нами работали женщины. Они исполняли ту же работу, что и мужчины: одни штукатурили, другие месили раствор, а моя землячка, семнадцатилетняя девушка Оля, накладывала раствор на носилки.

Однажды, поднимая тяжелую лопату с раствором, она вскрикнула, словно ее резанули ножом, упала возле корыта и выругалась. Через несколько минут она присела и горько заплакала.

— Что с тобой, Оля? — спросил я ее.

— Ты что, не знаешь? Разве это женская работа?

Она ругала Сталина, правительство и партию, но сразу же смолкла, заметив нарядчика.

На этой работе я окончательно ослабел. Другие заключенные, большей частью украинцы, получали передачи: несколько черных сухарей или кусок подсолнечного жмыха. Я же решил не сообщать о себе родным. Мне, однако, удалось устроиться в электроцехе. Работа была легче, но на тюремном режиме я обессилел. Иногда заключенные, получив передачу, угощали и меня. Один сосед по нарам, парень из украинского колхоза по имени Кирилл, получил передачу и наварил большой котелок кукурузной каши. Он позвал меня:

— Миша, иди за ложкой. Угощу тебя кашей.

Я пошел в секцию за ложкой. На обратном пути увидел Кирилла. Он метался по зоне и кричал:

— Кашу украли! Кашу малолетки украли!

Он подошел ко мне и расплакался:

— Знаешь, я все сварил, что мне мама прислала. Хотел один раз досыта поесть и тебя угостить, а они, вишь, что сделали? На глазах утащили. Помоги, Миша, найти котелок.

Котелок мы вскоре нашли, но он был уже пустой.

Несмотря на такую режимную обстановку, при тюрь-

ме работала секция самодеятельности. Среди заключенных были талантливые люди: поэты, музыканты, артисты и даже акробаты. Летом на открытой сцене, а зимой — в тюремной столовой ставились пьесы советских авторов. Иногда было стыдно смотреть. В пьесах говорили о свободе, о хорошей жизни, а за стенами тюрьмы сидели люди за один антисоветский анекдот. Во всех лагерях я видел такие же лозунги, как и на воле: о превосходстве коммунистического строя над капиталистическим, о соцсоревновании, о перевыполнении пятилетних планов, о мудром руководстве Сталина.

При лагере существовала КВЧ — культурно-воспитательная часть: там были книги, газеты, музыкальные инструменты. Была санчасть, где лежали больные. Чаще других заболели иностранцы, не привыкшие к суровому режиму. Но были и так называемые «почетные» иностранцы. Рядом со мною спал немец-инженер, изобретатель цельнолитых цепей из Магдебурга. Он никогда не был военным, но по 58-й статье ему дали десять лет. По этой статье судили за измену родине, и я однажды спросил инженера:

— Господин Шнайдер, я сижу за измену родине по 58-й статье. Эта статья как раз ко мне подходит. А как же вы изменили родине?

— Не спрашивай. Мы все — изменники. Каждый изменник, кто думает не так, как Сталин.

Каждое утро за Шнайдером приезжала легковая машина с конвоем. Его везли на завод. Там он организовывал производство цельнолитых цепей, но как только

закончил свою работу и подготовил русских учеников, его бросили в жаркий литейный цех простым рабочим. Он развозил расплавленный чугун двухпудовыми ковшами, обжигал руки. Вечером он падал на нары, плакал, как ребенок, ругал себя и рвал на голове волосы. Он открыл русским все секреты изготовления цепей, а они, в знак благодарности, бросили его в литейку.

— А ведь обещали свободу, — стонал Шнайдер.

Моим вторым соседом по нарам был парень из Молдавии. Я спросил его:

— А ты за что сидишь?

Парень начал свой рассказ, часто всхлипывая:

— Мы жили в Молдавии. В 1946 году у нас был голод. Померли мать и отец, а потом и брат помер. И вот, стыдно признаваться, да правду сказать надо: соблазнил меня сатана на злое дело. Не хотелось мне умирать с голоду, и я вырезал мягкое место на теле брата и сварил. Уже и соли достал, приготовился есть, но кто-то донес. Пришел милиционер, ну я и влип. Вот пришили за людоедство десять лет. Тут, видно, и молодость похороню.

Я был дежурным электриком. Имел право ходить по цехам, имел возможность встречаться со многими людьми, разговаривать, спрашивать.

Один малолетка, деревенский парнишка, имел шесть месяцев тюрьмы за мелкое хулиганство. Однажды он показал мне письмо от матери. Это был ее ответ на его письмо, в котором он писал, что ему неплохо: утром дают суп, в обед — суп, вечером кашу и 650 граммов хлеба. И вот мать писала: «Дорогой сынок, я рада, что ты не

голодаешь. Ты посмотри, нельзя ли там Ваньку, брата твоего, пристроить хоть граммов на 400 хлеба?»

Мальчика звали Ленька Косой. Он часто подходил ко мне, делился планами на будущее:

— Вот выйду из тюрьмы, поеду в Сибирь, охотником заделаюсь. Там много зверей, без пайка можно прожить.

— Да зверей-то у нас везде хватает, — заметил двусмысленно сосед.

И это была, конечно, правда. На этом держится мир.

В лагере никого не называли по фамилии или по имени. Пользовались кличками. Если и употребляли имя, то обязательно добавляли: Петька-людоед (молдаванин, о котором я рассказал), Хромой, Косой, Заика, Рябой, Рыжий. Меня звали Длинный — за мой высокий рост.

Позднее я познакомился с двадцатилетним пареньком из Новосибирска, Колей Меркушевым. Его судили за воровство. Он узнал, что во время войны я был за границей.

— Слушай, Миша, расскажи мне, как живут люди в других странах? И вообще, можно ли за границей прожить такому, как я, не воруя? А то ведь вот, выйду через два года и опять засыплюсь. А теперь по новому указу за воровство судят крепко.

Я пробовал наставлять земляка:

— Ты дружи не с малолетками, а со взрослыми. Они много на свете видели, жизнь знают. От порядочных людей уму-разуму учись. Ведь у тебя еще вся жизнь впереди. Два года пройдут быстро.

Однажды Коля сказал:

— Слушай, Миша, хочешь, я устрою побег?

— А не подождать ли? — отвечал я. — Вот заваривается каша в Берлине, наши блокаду устроили, может, война будет. Тогда мы все освободимся.

— Жди с моря погоды, — ответил Коля. — Я вот слышал от хромого полковника, что войны не будет. Он говорит, что мы к войне не готовы, а американцы и англичане никогда не начнут войны, даже если бы вся Россия сидела в концлагере. Им своя шкура дороже. Его, полковника, тоже выдали американцы после войны. А он был в плену, в Германии. И дали ему десять лет.

Я увидел, что Коля принял мой совет всерьез и теперь действительно стал прислушиваться к тому, что говорят старшие.

«Берлинский вопрос» был мирно урегулирован. Надежд на войну не было, и мы решили устроить побег.

— Нам главное — через стену перемахнуть. А там я тебя укрою, — убеждал меня Коля. — Я тебя сразу и одену, и обую. Только пить не будем, а то по пьянке сразу можно влипнуть.

Он надеялся, что после побега я помогу ему перебраться через границу.

Рядом с электроцехом стояло трансформаторное помещение. Оно было на замке, в вентиляционных окнах — решетки. Взобравшись на крышу, можно было бы перерезать электропроводку и затемнить лагерь. В ночную смену в производственной зоне работали «малосрочники». Около стены в рабочее время можно было сидеть. Этим воспользовался Коля и ночью выбил два кирпича

в стене, где стояла трансформаторная будка. Кирпичи он заложил снова. Весь день наши нервы были напряжены до крайности. И вот настала темная, безлунная ночь. Мы пролезли через проволочное ограждение. Коля вытолкнул кирпичи, легко пролез в дыру.

— Протягивай руку. Теперь голову, — шептал он мне.

С большим трудом я пролез через дыру, оставив на другой стороне свои штаны. Коля снова заложил камень. Мы тихо прошли вдоль стены, вышли к цехам. Я полез на крышу трансформаторной будки, но сразу услышал окрик:

— Эй, ты куда?

Я соскочил на землю. Нас заметил сторож из заключенных-малосрочников. Коля подбежал к нему, злой и сердитый, поднес к его носу кулак и прошипел:

— Если ты стукнешь о нас — тебе не жить.

Сторож думал, что мы хотели обокрасть портняжную мастерскую. Она стояла рядом с трансформаторной будкой. Он дрожал от страха.

Тем же путем мы вернулись в свои камеры.

Утром поднялась тревога. Нас всех выстроили, пересчитали. Возле дыры собрались надзиратели. В наших рядах раздавались слова:

— Значит, кто-то сбежал. Вот счастливцев!

Подсчеты сошлись, и все успокоилось.

Почти ежедневно в наш лагерь прибывало «пополнение» из других лагерей Одесской области. Новички говорили:

— Ну у вас тут житуха. Лафа... И помирать не надо.

Кормят, как людей. А нас прямо голодом морили: дадут на день черпак баланды, а каши — только котелок вымажешь, и вкальвай целый день.

Среди вновь прибывающих часто встречались украинцы-колхозники, осужденные за мелкую кражу. Я знал женщину, которая взяла с колхозного огорода кочан капусты для голодных детей. Ей дали шесть месяцев исправительных лагерей. А так как ее муж погиб на фронте, то детей отдали в детский дом. Каждый раз, когда я спрашивал на работе у женщин, за что они сидят, они не могли отвечать мне без слез:

— Я вдова, дорогой. Мужа на фронте убили, дети в приюте, а я вот здесь мыкаюсь...

— А за что, тетенька?

— По доносу. Наговорили, что я добровольцам белье стирала. От зависти.

В электроцехе был у меня друг Володя Бабкин. До войны его судили по 58-й статье и дали десять лет лагерей. Из лагеря взяли на западный фронт для «искупления вины». Вину Володя искупил: был ранен, имел награды. Но как только Володя отпраздновал День Победы, КГБ нашел его снова. Его осудили по той же статье и на тот же срок.

На суде он спросил:

— Где же ваше обещание?

— За то, что ты хорошо воевал, — спасибо, а то, что получил до войны, — надо отработать.

В этой обстановке я все чаще обращался мыслями к Богу, но молиться не решался. Как я буду молиться, когда

я каждый день втихомолку точу ножи, собираясь в побег? Но ведь я должен защищаться! Иначе не уцелеешь. Чтобы Бог принял мою молитву, надо было от всего отречься, смириться с двадцатью пятью годами наказания, а я этого никак не мог. Во мне еще жило горькое разочарование от пережитого в Праге.

Весной особенно угнетает тоска по свободе. Разговоры в лагере не отходят от этой темы. Лагерники завидуют бедным, больным, несчастным людям, но живущим на свободе. У многих остались семьи, жены и малые дети. Письма, получаемые из дому, заключенные носят везде с собой, перечитывают их десятки раз, заучивают каждое слово наизусть. Для заключенного самым дорогим письмом является письмо от детей:

«Дорогой папочка, когда же тебя отпустят домой?»

«Дорогой папочка, мы молимся о тебе каждый день...»

«Папочка, не забывай о нас. Мы тебя ждем...»

Но разве может отец, оказавшись в неволе, забыть родных детей? Наоборот, в тюрьме они занимают все его мысли. Ради детей отец готов на все лишения, на все трудности, лишь бы не потерять надежду увидеть детей снова. С такими мечтами некоторые сидели уже по пятнадцать и более лет. Они ждали дня освобождения, а у некоторых впереди — двадцать-двадцать пять лет заключения.

Эти переживания находили свое отражение в лагерных песнях. Никто не знал, кто сочинял эти песни, но их можно было слышать каждый день:

Несчастье случилось, и нас разлучили,
Я вяну, как вянут цветы.
Природу отняли, свободы лишили,
Остались одни лишь мечты.

Неожиданно меня вызвали на этап, перевели в «пересылку». Перед отправкой — проверки и обыски. До станции нас гнали колонной, ускоренным шагом и под сильным конвоем, с собаками. Со всех сторон раздавались крики:

— Подтянись! Не оглядываться! Не разговаривать!

На пути к станции многие изнемогли, старики буквально падали. В таких случаях нам приказывали их нести или просто тащить.

Нас погрузили в «стольпинские» вагоны. На рассвете поезд тронулся. Через решетки можно было видеть, как проплывали поля, озера и реки. В садах виднелись обильные урожаи фруктов. У нас разгорался аппетит, томила жажда.

Вскоре показали огни Киева. Поезд затормозил на товарной станции. Нас пригнали к пересыльной тюрьме. Всю ночь пришлось стоять во дворе «пересылки» под освещением мощных прожекторов. Погода была теплая, воздух чистый, свежий. Огромные окна киевской тюрьмы были раскрыты, к решеткам прилипали страшные исхудалые лица. До нас доносился женский говор:

— Видно, военные.

— Ну как? Завоевали свободу?

— Вот вам свобода!

Сыпались ругательства.

Утром меня втокнули в небольшую камеру, в которой сидело больше ста человек политических. Мне отвели уголок рядом с бывшим адвокатом Александром Николаевичем Хвоциным. Я сразу полюбил этого человека за его тихий, мирный характер и простоту. Он был ранен на фронте, левая рука не действовала. Он рассказывал нам биографию Наполеона, о его славных победах и бесславном конце, прозрачно намекая, что придет время, когда история осудит режим Сталина.

Кое-где тихонько говорили о Боге, истолковывали Апокалипсис. Видно, некоторые сидели за религиозные убеждения.

В нашей камере сидел православный священник. Он был способным рассказчиком, но рассказывал, к сожалению, только анекдоты с яркой политической окраской.

Рослый киевлянин с густой окладистой бородой (его звали «Борода») говорил:

— Я бы хотел Бога познать, почитать Евангелие. Долго искал эту книгу и до сих пор не нашел. Вот беда!

В сентябре я попал на новый этап, насчитывавший тысячу человек. До станции нас вели ночью по окраинам Киева, с полным батальоном охраны и с собаками. Погрузили в товарные, специально оборудованные вагоны и привезли в лагерь, расположенные в Мордовской АССР.

Со станции Потьма в глубь густого дремучего леса нас везли по железнодорожной ветке. По обе стороны дороги было более тридцати трудовых лагерей, переполнен-

ных исключительно политзаключенными. Я оказался в 14-м пересыльном лагере.

Стояла сухая, звонкая осень. Лагерь был окружен лесом, и было приятно по утрам слышать пение птиц. На работу меня не брали — отбывал карантин. Во всю длину бараков стояли двухъярусные нары, и каждый заключенный располагался поближе к знакомым по пересыльным тюрьмам. Вместе с нами из киевской пересылки прибыл бывший советский генерал-лейтенант Калинин — статный, высокого роста белорус. Он жил в нашем бараке, часто рассказывал о больших битвах с немцами.

— За что же вы сидите? — спросили у него в первый вечер.

— По ошибке, товарищи. По ошибке. Это у нас часто бывает.

— Мы тут все по ошибке, — раздавались голоса.

Генерал Калинин при каждом удобном случае подчеркивал, что он не простой заключенный, а генерал и требовал к себе уважения как к генералу. Если кто-нибудь получал передачу и угощал друзей табачком, Калинин отрывал большой кусок газеты и, подставляя ее, не забывал добавить:

— Я привык курить генеральскую, потолще.

В Темниковских лагерях я подружился с верующим-евангелистом. Мы часто прохаживались по зоне, и я у него спрашивал:

— Борис Петрович, вы человек верующий, Писание знаете... Когда же такой жизни придет конец?

— Потерпи немного, да в душе зла не держи на власть.

Главное — верить во Христа как в Спасителя и быть готовым с Ним встретиться. А Он скоро придет за Своей Церковью и всему положит конец.

— А как долго ждать? — спрашивал я.

— Этого никто не знает. У Бога не такая арифметика, как у нас. Ты, браток, верь и молись, а остальное Бог усмотрит.

Вечерами мы усаживались на нары и говорили откровенно, кто что думал:

— Эта власть уже совсем умирает. Только некому ее толкнуть. Она бы сама рассыпалась.

— Так и немцы думали, да ничего не получилось.

— Потому что они были дураками. Руку подняли на народ, а народ — сила, раскусил их сразу, и противник повернул.

Генерал Калинин тоже подсаживался то к одной, то к другой группе и обязательно везде вставлял свою реплику:

— Уверяю вас, так долго продолжаться не может. Скоро придет время, когда мы будем судить тех, кто нас судил.

Я этому не верил. Люди, как дети, питают себя ложными надеждами, а на самом деле власть коммунистов сильна, в их руках вся сила.

Недели через три нас распределили по отдельным лагерям. Меня перевели в лагерь № 7, вмещавший три тысячи человек. Рядом с жилой зоной находилась зона производственная. Это был деревообрабатывающий комбинат. Мы называли его просто — ДОК. В нем де-

ляли корпуса для радиоприемников «Родина» и «Рекорд», а также для радиол. Существовала норма — 1000 корпусов в смену. Выпускали также хорошую, дорогую мебель, вероятно, для больших партийных боссов.

В лагере № 7 было девять жилых бараков, баня, санчасть, столовая. В производственной зоне работала собственная электростанция — два локобиля.

Меня поместили в 5-й барак, где в одной секции на двухъярусных нарах помещалось 200 заключенных. При распределении на работы меня, как электрика «со стажем», направили на электростанцию. Начальник электростанции, коренастый подвижный парень, демобилизованный лейтенант танковых войск по фамилии Сапин, назначил меня электриком в женский лагпункт № 3, где содержалось от тысячи до тысячи двухсот женщин. Рядом с женским лагерем — производственная зона, а в ней — швейная фабрика. Женщины шили ватные телогрейки, брюки, военное обмундирование.

В женском лагпункте работали кузнец и пять механиков по ремонту швейных машин. Это был весь мужской персонал лагеря. Утром нас приводил конвой, вечером уводил.

Условия и порядки женского лагпункта были такими же, как и у нас, мужчин, разве что обыски производились женщинами-надзирательницами.

Однажды я услышал, что в лагерь была переведена из какой-то тюрьмы жена генерала Власова, командующего русским освободительным движением при Гитлере.

В конце апреля 1945 года Власов перешел на сторону американцев в поисках политического убежища, но американцы его выдали вместе с его штабом советскому командованию. Жена Власова числилась в инвалидной, не-рабочей бригаде. Убитая горем, пожилая, поседевшая женщина не хотела рассказывать о своем муже, повешенном за ребра на Красной площади в Москве в августе 1945 года.

Среди женщин не раз возникал разговор:

— Вот тебе и закон: жена не отвечает за мужа, а муж за жену! Этот закон только на бумаге. Ну муж был предателем, а причем тут жена? Он с ней советовался, что ли? А теперь тут ей и умирать.

Каждое утро за зону выводили колонну женщин на погрузку и разгрузку вагонов. Другие бригады штукатурили бараки, чистили уборные, заготовливали дрова.

Сожительство с женщинами было строго запрещено. За этим следили надзирательницы. За нарушение этого приказа женщину сажали в карцер, а мужчина сразу же терял работу в женском лагпункте, а это была завидная работа. Но бывали случаи, и нередко, когда женщина оказывалась беременной. Иногда беременных привозили в лагерь. Таких женщин отправляли в центральную больницу Темниковских лагерей. Там был родильный дом. После рождения ребенок оставался при матери до двух лет. В силу лагерных условий мать так привязывалась к ребенку, а ребенок к матери, что их разделение всегда являлось большой трагедией. Для заключенной матери ребенок — это все: и радость, и надежда, и утешение. Бы-

вали случаи, когда матери резали себе груди стеклом, перерезали вены, день и ночь кричали до хрипоты на весь барак:

— Звери, отдайте моего сыночка!

Таких женщин бросали в карцер, увеличивали им срок наказания за противление власти, некоторые сходили с ума. Этих сразу же переводили в переполненное психиатрическое отделение при центральной лагерной больнице.

С утра до вечера я был загружен работой по ремонту электросети, а получить помощника никак не удавалось. Сапин, начальник электростанции, на мои просьбы пожимал плечами или недовольно бурчал:

— Нет подходящих людей для такого места.

Он часто вызывал меня в женский лагпункт по воскресеньям, когда женщины отдыхали. Я пользовался этой возможностью, чтобы знакомиться с людьми, слушать их рассказы и жалобы.

Однажды ко мне подошла молодая девушка и, застенчиво улыбаясь, начала разговор:

— Миша, моя подруга просила передать тебе большую просьбу...

— В чем дело? — спросил я.

— Она желает иметь от тебя ребенка. Устрой ей это...

— Твоя подруга, наверное, с ума сошла?

— Данет же. Ей это нужно. Ее убивает работа. Ей нужно попасть в больницу. А претензий она к тебе иметь не будет.

— Нет, спасибо за предложение, — ответила. — В карцере гнить не хочу.

Несколько дней спустя эта девушка мне рассказывала:

— Ничего, Миша, ты забудь, о чем я тебя просила. Я вот решила с подружкой покончить жизнь самоубийством, да ничего у нас не получилось. Достали веревки, забрались на чердак, сделали петли. Я говорю подруге: «Прощай, дорогая». А она посмотрела на меня, да как бросится на шею. Расплакалась. Ну наплакались мы вдосталь, спустились в барак, а петли так и остались висеть. Может, еще пригодятся...

— Струсили, значит? — спросил я, шутя.

— Да, — согласилась девушка, — пожить нам еще хочется. Говорят, что Сталин долго не протянет, а после него обязательно будут перемены.

В женском лагпункте я встретил девушку из Смоленска, Галину Степанову. Она была актрисой Смоленского драматического театра, где я работал шофером. Ее арестовали по доносу.

Во время оккупации Смоленска немцами в городе был организован артистический кружок, в котором ей пришлось выступить только один раз. Донесли на нее бывшие подруги. Галину осудили за измену родине на десять лет.

— Ты знаешь, Миша, — говорила она мне, — лучше бы меня расстреляли... Вся моя молодость пройдет в лагерях, и сгнию я здесь заживо. Вот, норму выполнить не могу — мне паек урезали, каждую неделю в карцер гоняют. Придется, Миша, руки на себя наложить.

Галина Степанова горько заплакала. Ее худые плечи

вздрагивали, тонкими ладонями она закрывала лицо. Я решил во что бы то ни стало помочь ей.

На следующий день я встретил начальницу цеха, вольнонаемную, грузную, неповоротливую женщину.

— Послушайте, — начал я, — в вашем цехе работает моя землячка, Галина Степанова.

— Есть такая птица, — недовольно ответила начальница.

— У нее плохо идут дела, — начал было я, но начальница перебила:

— Конечно, плохо! Она лентяйка!

— Нет, она просто неспособна к физической работе. Вы помогите ей, а я как электрик буду еще лучше обслуживать ваш цех.

— Ну ладно, подумаю... — бросила начальница и ушла.

Через несколько дней Галину Степанову назначили учетчицей. Она встретила меня, расплакалась:

— Не знаю, чем и когда я тебя отблагодарю, Миша. Мне дали хорошую работу и полный паек. А то ведь в карцере сидят тридцать девушек таких, как я, — совсем изнемогают. Спасибо тебе, земляк.

В лагере периодически проводились медицинские комиссии: определяли здоровье по группам. Слабым давали работу полегче, но кто был здоровый — норму повышали.

Для мужчин лагерный паек был слишком мал. Заключенным полагалось на день пять граммов жиров, но и эти пять граммов до нас не доходили.

Женщины при том же самом пайке выглядели лучше мужчин. Может быть потому, что они чаще получали передачи. На женской кухне оставалась баланда. Оттого каждому хотелось попасть в женский лагпункт — подкормиться, поесть досыта лагерного супа.

К наступающему 1949 году лагерное начальство решило нам приготовить новогоднюю программу. Привезли елку, поставили ее на сцене в столовой. Я провел освещение. Драматическая группа подготовила спектакль. Женские роли играли мужчины, а в женском лагпункте — наоборот. Все, кто работал в женском лагере по наряду, были оставлены на новогодний «бал». Из мужского лагеря был приглашен баянист. В вымытой и убранной столовой начальство заняло первые ряды — их, вероятно, тоже тяготила скука в захолустье. Заключенным разрешили взять из каптерки личные вещи и переодеться.

Женщины оказались бережливее мужчин. Некоторых я не узнавал: в хорошем платье или костюме, в туфлях, аккуратно причесанные. На время было забыто горе. Исхудалые, бледные лица женщин сияли радостью.

— Смотри, Миша, — сказала мне Галина Степанова, — теперь я на девушку похожа. Правда?

Ее пышные русые волосы красиво обрамляли лицо, глаза светились огоньком, на щеках заметен был румянец.

После концерта почти все начальство ушло домой, а баянист лихо растянул меха и заиграл «На сопках Манчжурии». Женщины пошли по кругу в вальсе. Не хватало

мужчин, а те, что были, ворочались по-медвежьи в истоптанных, отсыревших валенках.

Женщины накормили баяниста, и он играл до упаду, вытирая после каждого танца пот с лица. Танцы сменялись частушками:

Тихо Волга волновалась,
Мы стояли на лугу.
А теперь тебя, мой милый,
Я забыть-то не могу.

Женщины, встревоженные воспоминаниями, смахивали слезы, а другие продолжали петь под аккомпанемент баяна:

На Мурманской дорожке,
Где стояли три сосны,
Я простилась с тобой, милый,
До будущей весны.

Было далеко за полночь, когда женщины начали расходиться по баракам, а нас, мужчин, как всегда, отвел конвой в лагерь.

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

В феврале меня вызвал начальник электростанции, виновато улыбнулся и сказал по-дружески:

— Плохая новость, Миша.

— В чем дело?

— Начальник снимает тебя с 3-го лагеря. Говорит, что «двадцатипятилетнику» положен другой режим, по-строже.

Меня зачислили в так называемую «простойную» бригаду. Там я встретился с Безуевским Георгием Антоновичем. Пять лет спустя мне суждено было вместе с ним организовывать побег, пережить много трудностей и лишений.

Безуевского мы звали просто Жорой. Его привели из центральной больницы, где он несколько месяцев содержался в корпусе умалишенных. Ничего ненормального мы в нем не замечали. Подвижный, общительный, коренастый парень лет тридцати, с открытыми, чистыми глазами, белым, немного широким лицом и едва заметным шрамом на щеке. Он имел высшее юридическое образование, был интересным рассказчиком. Я поделился с Жорой своим запасом сухарей. Он ел их, запивая кипятком и, внимательно присматриваясь ко мне, спрашивал о моем прошлом.

— У меня было немного сложнее. За один день не расскажешь, — ответил он, когда я попросил его рассказать о себе.

— Как же тебе 58-ю пришили?

— Э-э, браток, меня по пяти статьям судили. По закону мне бы «вышка».

Жора медленно попивал кипяток и рассказывал:

— Война меня застала в армии. До Бобруйска нас так чесал немец, что от полка остался только комендантский взвод. За Березиной я попал в плен, но вскоре сбежал из лагеря и пришел на свою родину — в Гомельскую область. Дома я жил недолго. Немцы начали ловить бывших пленных. Схватили и меня, бросили в Бобруйский лагерь. Ну, сам знаешь, какая в лагере была кормежка. А тут пошел слух про Власова. Думаю, чего мне умирать? Пойду в его армию, а там видно будет.

Жора сделал самокрутку, аппетитно затащил и предложил мне:

— Тяни. Настоящий нашенский самосад.

— Я не курю, — ответил я.

— Ты счастливый, парень, — заметил он и снова вернулся к рассказу: — Армия Власова — это была просто комедия. Гоняли нас на окопы, мосты строили. В военных действиях я так и не участвовал. Перед концом войны я перемахнул к американцам, попал в их лагерь, а они, знаешь, что сделали? Собрали нас сотни полторы, посадили на машины и заявили: «Мы вас повезем в лучший лагерь». Знаешь, куда нас привезли? Прямо «советчикам» в руки. Влипли мы неожиданно, деваться некуда. Всех посадили под арест, и началась прочистка. Кто был родом с оккупированной территории, тех отправили для суда по месту жительства, остальных куда-то увезли. Я

оказался в брестлитовской «пересылке». Там опять начались допросы. Один раз меня следователь так избил, что, вернувшись в камеру, я начал харкать кровью. Ну, думаю, у них не оправдаешься. Пойду завтра прямо на вышку, пусть часовой стреляет...

На другой день нас вывели на прогулку. Обошел круг, поглядываю на часового, а выйти из строя не решаюсь. Что-то меня удержало. Надзиратель скомандовал заходить в камеры, и мы, один за другим, направились к двери. Двери открывались внутрь. И знаешь, что мне пришлось в голову? Я стал за двери. Заключенные видели, но промолчали. Надзиратель закрыл за собой коридорную дверь, начал закрывать камеры. Я проскочил на верхний этаж, где проводились допросы. В конце коридора увидел маленькое окошко, пролез в него, а там уборщица делала уборку. Она поняла, в чем дело, и молча указала на парадную выходную дверь. Я вышел на улицу, вскочил в какой-то двор, прошел через огороды к лесу. В лесу, вижу, навстречу идут две девушки с узелками. Знаю, что в узелках у них еда, а попросить стесняюсь.

До 1948 года я скрывался в лесах. Добрался до Гомельской области. Всю жизнь, конечно, в лесах не проживешь. Изредка проводывал жену. Соседи узнали и сразу же донесли в отделение милиции. Началась слежка.

Однажды я ночевал дома. На рассвете кто-то постучал. Жена выглянула в окно и вскрикнула: «Жора, милиция окружила!» Я залез под кровать, а жена открыла двери начальнику милиции, капитану. «Говори, где твой

бандит?» — начал он приставать к жене, схватил ее за грудь. Я приподнял одеяло, хотел проскочить мимо него, но он сразу направил на меня пистолет. Я выстрелил в упор, начальник упал. В сенях у меня был подземный ход. Выбрался я, голый и босой, уже в огороде, за сараем. Побежал в лес, по мне стреляли, пули падали прямо под ногами, но все-таки ушел. Скрывался три дня, а потом решил пробираться на Украину, ближе к границе. Я не знал, что по всей области уже объявили награду за мою голову. Ты знаешь, во сколько меня оценили?

— Во сколько? — повторил я вопрос.

— Пять тысяч рублей. Столько хороший костюм у нас стоил. Перед тем как покинуть родные края, заглянул я к другу, чтобы узнать о жене. Он меня принял радушно, угостил обедом, а потом как огреет меня обухом по голове. Очнулся я уже на улице. Открыл глаза, а вокруг меня стоят люди, и руки у меня связаны. А тот гад стоит рядом, улыбается, помахивает моим пистолетом и говорит: «Ну как, хорошо я тебя угостил?»

Тут же сразу приехала конная милиция. Избили меня до потери сознания и отвезли в тюрьму. Судили по пяти статьям. Четыре тянули на двадцать пять лет, а одна (за хранение огнестрельного оружия) — на семь лет. Вот такова, браток, моя судьба.

— А как жена? — спросил я Жору.

— Нашел я тут одного земляка. Он всю мою историю знает. Говорит, что жена моя куда-то сбежала, и никто не знает, где она сейчас.

Жора тяжело вздохнул и добавил:

— Когда-нибудь я расскажу тебе подробно о моих приключениях. А ты, того, держись поближе. Может, пригодится один другому.

Мы расстались друзьями. Я пошел в свою секцию с тяжелой думой: много людей страдает теперь по лагерям. И всех погубила война.



Через несколько дней наш лагерь неожиданно посетил высокий гость: сам начальник Темниковских лагерей генерал Сергиенко. Утром я шел в барак Жоры. Навстречу мне по лагерной дороге человек пятнадцать заключенных тянули за зону ассенизаторную бочку, установленную на колеса. Это были бывшие священники и проповедники. Они не знали, что за первым поворотом шел генерал Сергиенко со своим штабом. Я спрятался за бараком и стал наблюдать. Сергиенко прошел мимо, не обратив на заключенных внимания, но в это время толкавший бочку киевский архиепископ вдруг упал. Бочка остановилась. Друзья подняли архиепископа, а он, приметив вблизи Сергиенко, прихрамывая, зашагал к гене-

ралу. Он стал от него в нескольких шагах, положил руку на грудь, снял шапку, поднял лицо к небу и начал не то речь, не то молитву:

— За грехи наши тяжкие Бог наказал нас, и мы кротко и терпеливо несем наказание. Мы виноваты, но не перед вами, генерал, не перед властью, а перед Богом Всемогущим. Да простит Он нас, кающихся, да помилует.

Архиепископ говорил громко, отчетливо, уверенно. Другие, стоя в упряжке, плакали. Лицо генерала сделалось хмурым, серьезным. Он выслушал речь и пошел дальше, не сказав ни слова. На другой день в лагере появилась старая худая кляча. Ее запрягли в повозку, и она возила ассенизаторную бочку за зону. Но лошаденка была настолько обессилена, что заключенным по-прежнему приходилось подталкивать бочку.

С наступлением теплых весенних дней нашу «простойную» бригаду послали на разработку торфяного болота. Бригадиром этой бригады был криворожский педагог Калиниченко. Работали мы медленно, силы наши слабели. Чтобы получить полный лагерный паек, нужно было выработать норму. Те, кто вырабатывал больше, получал соответственно больше каши и хлеба. Гарантированная пайка составляла 750 граммов. Но так как мы с Жорой Безуевским едва выполняли полноремы, нас посадили на штрафной паек: 300 граммов хлеба и черпак баланды. Тогда мы сбавили выработку до пяти процентов. Обычно за подобный саботаж сажали в карцер. Но нас, «двадцатипятилетников», лагерное начальство не хотело

наказывать, чтобы не получилось хуже. Очень часто озлобленные заключенные совершали убийства. Постоянно были новости: в одном бараке отрезали голову, в другом — повесили. Убийцы не скрывались. Они признавались в преступлении и говорили:

— Нам все равно: вышка — так вышка, а двадцать пять лет так мучиться — тоже не жизнь.

Убивали за доносы, за воровство, убивали несправедливых бригадиров и нарядчиков. Это явление вызвало издание правительственного указа «О злостных лагерных преступлениях». За убийство в лагере присуждали к смертной казни через публичное повешение. Но и это не помогало. После указа участились случаи «самоубийства». Начальство регистрировало факт: «номер такой-то покончил жизнь самоубийством», хотя всем было ясно, что это было не самоубийство.

Все чаще и чаще я говорил с Жорой о побеге, разрабатывал планы, но вскоре нас сняли с торфоразработок. Меня снова направили в женский лагпункт электриком, так как другие с этой работой не справлялись. Жору перевели в цех ширпотреба. Однажды я зашел к нему в цех.

— Ну, Жора, чем занимаешься? — спросил я его.

Он сидел за примитивным станком и напевал песню.

— Да вот вместе с генералом веревочки плетем.

Рядом с Жорой сидел седой, осунувшийся немец — бывший гитлеровский генерал, командир дивизии.

— Где же мы умирать будем, герр генерал? — спросил я старика по-немецки.

— О, друг мой, есть на небесах Бог. Только Он знает ответ на ваш вопрос.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Думал о том, что в лагере есть много верующих людей, что и мне пора бы стать ближе к Богу. Но мысль о побеге снова и снова отодвигала мои благие порывы на задний план: «Надо сначала вырваться из лагеря, а потом уже пробовать жить свято», — говорил во мне другой голос.

Через месяц меня назначили дежурным электриком жилой зоны. У меня было много свободного времени, и я с большой жадностью принялся за чтение. В лагере была большая библиотека, и многие проводили свободное время за книгой.

В жилой зоне размещалась пекарня. В ней пекли хлеб для продажи вне лагеря. Я часто заглядывал в пекарню — не за тем, чтобы что-либо исправить, а чтобы достать хлеба. Пекари не скупилась и осторожно подсовывали мне хлеб.

Старший пекарь, лысый, мускулистый старик, повел однажды густой бровью и указал на маленькую неисправность:

— Сделай вот это. Свежая выпечка через полчаса.

Я принялся за работу. Пекари, усаживаясь за обед, разговаривали.

— Вот ты, Вася, когда-то перед обедом молился, — говорил старший пекарь рабочему, — а теперь ругаешься, как блатной. Что это с тобою?

Вася помрачнел, задумался.

— Я и теперь в Бога верю, да вот споткнулся немного.

Трудно, брат, устоять, когда со всех сторон пинают, как собаку. Надо же как-то защищаться, — отвечал Вася.

Вечером того же дня, перед отбоем, когда люди укладывались спать, я проходил по жилой зоне. Навстречу мне медленно шел худой, высокий мужчина. Он заложил руки за спину, мечтательно вглядывался на вспыхивающие над лагерем звезды и вполголоса напевал:

Он знает, как устали мы на пути,
Как редко отдыхали, свой крест несли.

Я слышал этот гимн в детстве. Он взволновал мое сердце. Хотелось обнять этого человека, вместе плакать. Я решил во что бы то ни стало познакомиться с ним, дать ему свежего хлеба. Я побежал в барак, взял большой кусок хлеба, завернул его в газету, вышел на дорожку, но этого человека уже не нашел.

«Может, это к лучшему?» — размышлял я перед сном. — Я готовлюсь к побегу, а верующие люди, как известно, против этого. Пока что не по пути мне с ними...»

В лагерной библиотеке я познакомился с бывшим полковником Красной Армии. Во время войны он командовал дивизионом гвардейских минометов — «Катюш». Мы оба любили чтение, часто беседовали о прочитанном.

— Ты, Миша, мало еще пожил, мало знаешь советскую власть, — говорил полковник вполголоса. — Ты знаешь то, что видно снаружи, а не знаешь, что все мы —

люди конченные. Если осужден по 58-й статье, значит, гроб тебе без крышки. Вымотают наши силы за двадцать пять лет, а возникнет опасность — прикончат.

Этот разговор еще больше возбудил во мне желание бежать из лагеря, пробраться во что бы то ни стало к границе, искать путь к свободе.

Каждый вечер после возвращения бригад с работы у дверей санчасти толпилась огромная очередь. Доктора были внимательными и чуткими. Но они не могли дать больному настоящее лечение. Питания не хватало, люди ходили хмурые, худые, озлобленные на своих же собратьев.

Однажды в санчасти произошло необычайное событие. Из банки со спиртом был украден образец ткани с раковой опухолью. Всех подняли на ноги. Оказалось, что молодой парень из Западной Украины, Петр Наливайко, заметил в докторском кабинете стеклянную банку, а в ней — кусок «мяса». Когда доктор занялся другим пациентом, Петр, одеваясь, незаметно запустил руку в банку, вытащил «мясо», положил его в шапку и, помахивая той же шапкой, сказал:

— До свидания, доктор. Спасибо.

Обрадованный удачей, Петр пришел в барак, положил «мясо» в котелок, сварил украдкой и сразу съел.

Через несколько часов врач обнаружил пропажу. Он вызвал нарядчика, дал ему номера пациентов. Всех привели в санчасть.

Врач вышел строгий, сердитый, с пустой банкой в руке.

— Кто из вас запустил свою грязную руку в эту банку?
Признавайся, пока не умер. Буду спасать!

— А в чем дело, доктор? — спросили в рядах.

— В этой банке была человеческая почка, зараженная раком.

Петр Наливайко, бледный, как стена, вышел вперед:

— Доктор, извиняюсь. Это мясо я уже сварил и съел.

Доктору не пришлось давать Петру рвотное лекарство. Его уже рвало вовсю.

— Ничего, — говорил он потом в бараке, — не околел. Лишний день поспал, вот и все.

Зима для заключенного — страшное и мучительное время года. Снега, морозы, ветры, а работать нужно каждый день, кроме воскресенья. Рано утром, когда на дворе еще темно, раздается дребезжащий звон рельсов. Их подвешивают в разных концах лагеря. Дневальные орут:

— Подъем! Подъем!

В бараках невероятная теснота, запах только что принесенных из сушилки валенок, рукавиц, телогреек, бушлатов. Одевали нас хорошо.

Сразу же после подъема все спешили в столовую за порцией хлеба и супа, а через несколько минут снова звон и крик дневальных:

— На построение! Строиться!

Всех заключенных строго пересчитывали, записывали, и конвоиры разбирали их на работы. Для некоторых физическая работа вне зоны — лучше, чем сидение в бараке. На работе они забывают о лагерной обстановке — видят дикую природу, греются у костра.

За лагерной зоной находился радиоузел. В каждой секции были громкоговорители. Радио восхваляло советскую власть и коммунистическую партию. Это, конечно, надоедало, и заключенные часто говорили незримо диктору:

— Ну чего брешешь, как будто мы не знаем?

— Заткнись там со своим «мудрым» и «славным». Знаем мы его «мудрость»!

В свободное время некоторые изучали английский язык, иные занимались изобретениями. Среди лагерников встречались талантливые поэты и писатели. Вечерами, после работы, они читали свои произведения. К ним приходили люди из других бараков. Иные увлекались шахматной игрой, устраивали конкурсы, выдавали «призы». Большой популярностью пользовались в лагере спириты и гадалки. Каждому хотелось знать, когда же настанет свобода. Примерно половина заключенных нашего лагеря имели сроки заключения двадцать пять лет. Многие уже отсидели в лагере по тринадцать-четырнадцать лет. Я знал одного молчаливого человека, который отбыл в Темниковских лагерях двадцать один год и все еще не знал, когда его освободят. Спириты вызывали духов умерших, вопрошали их о будущем, предсказывали крушение сталинской власти, но этому верили немногие. Я тоже этому не верил и потому продолжал думать о побеге. Люди пытались бежать, но их ловили, избивали до полусмерти, увеличивали сроки наказания. Никто, как говорили, за многие годы не убежал. И тем не менее мысль о побеге меня не покидала. Я не мог

смириться с двадцатипятилетним заключением. Я твердо знал: или я убегу, или меня пристрелят.

Весной 1950 года Жора попал на этап. Я лишился друга, с которым думал о побеге. Все лето я чувствовал себя сиротой. А осенью меня вызвал оперуполномоченный (мы звали его просто «опер») и вежливо спросил:

- Мы назначаем тебя на этап. Что скажешь?
- Отправляться не буду, — сказал я.
- Но ты же имеешь хорошую работу.
- Я работы не боюсь. Мне везде будет работа.

Этим наша беседа закончилась. Этапников переселили в отдельный барак, начались проверки, комиссии, отпечатки пальцев и т. п. Через несколько дней нас погрузили в вагоны. В каждом вагоне были печка, уголь, дрова, нары. Мы чувствовали себя хорошо. Многие шутили:

— Пусть везут, куда хотят. Нам теперь все равно где умирать.

Усевшись на нарах, я с увлечением слушал интересных рассказчиков. С нами ехал лагерный хирург, доктор Гоцук. На фронте он был начальником медсанбата, в чине майора. Демобилизовавшись, он приехал в родной Новгород и получил место директора больницы. Теперь он, седой не по летам, худой, с потухшими глазами, рассказывал нам о своей «неприятной истории»:

— И вот, значит, начал я замечать, что за моей женой ухаживает начальник районного отделения МВД. Поговорил я с ней по-человечески, и она отрезала прямо: «Скрывать не буду, он мне нравится». Кончилось дело

разводом. Жена вышла за любовника замуж. Ну, думаю, не велика беда. Я без жены умею жить. Отдал всю свою энергию больнице. А в больнице не хватало оборудования. Это тормозило работу. Я писал начальству в центр. Отвечали одно: ждите. Жду год, второй... Сколько же можно ждать? Я не вытерпел и написал в Министерство здравоохранения резкое письмо, что они не думают о нуждах народа, а думают только о том, чтобы устроить свою жизнь. Партийные органы не помогают: сидят здесь, как опричники Ивана Грозного, и делают что хотят, даже жену у меня отобрали. За это я воевал?

— Здорово вы их пробрали! — раздался чей-то голос из угла вагона.

— Да, однако это стоило десяти лет! — ответил доктор. — Но я все равно найду правду! Вот увидите, найду! До смерти буду искать, а найду.

— Найдешь, доктор, правду, когда умрешь, — ответил тот же голос.

Рядом со мной спал на нарах чеченец Володя Колиев. Его брат тоже сидел в лагере. До войны Володя закончил горный институт. В бою попал в плен, и чтобы не умереть с голоду, пошел в национальный чеченский батальон, на службу к немцам. Перед капитуляцией Германии ему удалось тихо ускользнуть, выйти на встречу советской армии, как сделал я. После демобилизации он женился на чеченке, работал в Донбассе горным инженером. Все шло хорошо. Володя рассказал жене о своем пребывании в национальном батальоне, а год спустя на почве ревности жена устроила скандал. В

порыве гнева она пошла в отделение МВД и заявила: «Мой муж сотрудничал с немцами». Володю Колиева сразу же арестовали, судили и дали двадцать пять лет лагерей. Теперь он уныло сидел на нарах и твердил одно:

— Как она, дура, могла предать? Она же чеченка...
Одной крови...

Особо трагичной была история подполковника Кузнецова Капитона Ивановича. Он командовал полком в Германии. В 1949 году его начальник штаба перешел к американцам. Кузнецова немедленно вызвали в Москву, открыли на него дело и осудили на десять лет за укрывательство.

— А мне, поверьте, — говорил Капитон Иванович, — и в голову не приходило, что мой начштаба может махнуть на запад. Подложил мне «свинью», паршивец, а вот теперь докажи, что ты не негр.

О себе он рассказывал тихо, спокойно, вдумчиво. К каждому его слову надо было прислушиваться, и так как его история была очень трагичной, все слушали его внимательно. Худой, почти облысевший за последний год, он сидел на нарах, свесив длинные костлявые ноги, и рассказывал:

— Жену повесили местные полицаи. Там же, в нашем селе, на Кубани. Отважная она была. Укрывала раненых красноармейцев. Сняли ее с петли соседи, зарыли за селом. Власти обещали памятник поставить, да я вот оказался «врагом», и все прекратилось. Да и зачем ей памятник?

Когда Кубань освободили, я узнал о жене. Сердце мое сделалось как железное. Эти казаки, которые вешали жену, с немцами бежали. На этих немецких прислужников — полицаев — у меня до сих пор зуб горит. Гады, а не люди. Своих людей вешать!

Кузнецов сплевывал в угол вагона, где стояла параша, моргал поблекшими глазами. Кто-то дал ему на закрутку махорки.

— Это, конечно, было бы полбеды — потерять жену. Жену другую можно найти. Но у меня было двое сыночков и дочь. Федора я оставил трехлетним, а Мише было шесть. Кате — восемь. Как только закончилась война, взял я отпуск и начал разыскивать детей. Я всю войну о них только думал, для них и жить хотел. Поехал я из города в город, где были детские дома. Объездил европейскую часть, искал в Башкирии, на Поволжье, на Кавказе. Бывало, приеду в приют, а дети бросаются ко мне, каждому хочется иметь папу. Спрашивал каждого: «Как тебя, малыш, зовут? Где твоя мама? Где папа?» Своих не находил. За семь лет много воды утекло. Трудно своего ребенка узнать.

Оставалось мне заехать в суворовское училище на Кавказе. Это была последняя надежда. Поговорил я с начальником училища, проверил списки. Моих нет. Хотел было уже прощаться, идти к поезду, а начальник говорит: «Подождите минутку. Я вызову физрука и всех детей выстрою в зале».

Зашел я в зал, а там несколько сот мальчиков в красивой форме выстроены по росту. Ладные мальчуганы.

Прошли мы вдоль строя. Я всматривался в каждое лицо — не узнавал своих. Потом начальник стал перед строем и говорит: «Может, кто помнит своего папу, Кузнецова Капитона Ивановича. Он вот ищет двух сыновей и дочку».

Застучало у меня в сердце. Думаю, неужели никто не отзовется? Смотрю, выходит один мальчик и говорит: «Я помню: мою маму вешали полицаи. Она мне кричала: „Сынок, не забудь, у тебя есть папа, майор...“ А как звали папу, я забыл, но у меня были брат и сестра. Это я хорошо знаю».

Узнал я в мальчике сына, схватил на руки, расцеловал, увел его в кабинет к начальнику, час плакал над ним. А он гладит меня ручонкой и говорит: «Когда ты, папа, вошел в зал, мне показалось, как будто кто-то шепнул: „Это твой папа, майор“. А потом вижу, погоны у тебя подполковника». «Повысили, сынок, повысили меня», — говорю я ему, а сынок продолжал: «К нам часто заходили военные, искали своих детей, а я думал: „Этот не мой папа! Мой должен быть не такой, мой папа майор, с орденом. Когда-нибудь и мой папа придет“. И я ждал, ждал... И вот ты пришел...»

Кузнецов рассказывал с большим увлечением, постоянно смахивал слезы из глубоко запавших глаз, а мы слушали его с участием. В разных концах вагона один за другим раздавались тяжелые вздохи.

— Оказалось, мой Миша прошел через многие руки, пока попал в суворовское училище, — продолжал Капитон Иванович. — Он уже знал о сестре Кате. Нашли и

ее. Она была на воспитании у одного учителя. А потом нашли и младшего. Собрал я всех детей, отвез к сестре жены. Она была не замужем. Прошел год, и получилось так, что я на ней женился. Да, вот как оно бывает в жизни: беда свалилась, как камень на голову, и теперь жди у моря погоды.

В вагоне было тепло: день и ночь мы топили печь. Питание было хорошее, как говорят по-лагерному — «густое питание». Две недели нас везли до Кемеровской области, где в ста километрах юго-восточнее Сталинска были огромные, так называемые трудовые, Камышинские лагеря.

Был праздничный день 7 ноября 1951 года. Страна праздновала очередную годовщину Октябрьской революции, а в это время в Камышинские лагеря прибывали заключенные, этап за этапом, из Печеры, Караганды и других переполненных лагерей.

В двухэтажных бараках лагеря № 2, куда поместили меня, было паровое отопление, двухъярусные нары. На работу нас не гоняли, так как не были приготовлены трудовые зоны. Кормили нас хорошо. В это время в Камышинских лагерях царила межнациональная вражда. В лагере было много западных украинцев. Всех русских они называли не иначе, как «москали» и «коммунисты». Никто не мог их убедить, что от засилья власти все нации в СССР страдают одинаково, в том числе и русские.

Западники особенно ненавидели кавказцев. Кавказцы были объединены известным в лагере красивым, стройным, с орлиными глазами Мишкой Чеченом.

— Вот туполобые, — говорил Мишка Чечен об украинцах-самостийниках, — никак их не убедишь, что Сталин на все нации плюет с шестого этажа, всех оседлал, всех сделал ишаками. Мы тут при чем?

После убийства маршала Ватутина лагерь пополнился западниками, их организация усилилась. Национальная вражда вылилась в резню. В кровавой схватке Мишка Чечен зарезал нескольких украинцев, а украинцы зарезали десяток кавказцев.

— Мы его ликвидируем, — говорили украинцы о Чечене. Мишка ходил везде с охраной. Даже в уборную его сопровождали два-три кавказца.

Во время другого национального скандала часовые открыли стрельбу с вышек и ранили двух заключенных.

Мишку Чечена украинцы все-таки подстерегли в уборной и смертельно ранили ножом в спину. Врачи ничего не предпринимали, чтобы его спасти.

Второй смертельно раненный, по имени Чебан, перед смертью кричал:

— Дайте мне пожить! Я им, кавказцам, все равно отомщу.

Одиночные убийства происходили почти каждую ночь. Убивали доносчиков, бригадиров, подпольных вожakov. Каждый, кто чувствовал за собой грешок, шел в комендатуру и заявлял:

— Мне угрожает опасность.

Их собирали в одну секцию, расположенную возле комендатуры. Заключенные называли эту секцию «бригада „боюсь“».

Покойников складывали в особой комнате-холодильнике. Однажды я подошел к разбитому окну и взглянул на сложенные рядами трупы. Они лежали на полу, в белье, подернутые смертельной синевой. На некоторых виднелись раны. Среди трупов особо выделялось стройное тело Мишки Чечена. Над моим ухом раздались слова пожилого лагерника:

— Видишь, вот они, враги — похоронят в одной яме, и будут лежать они, как братья.

Нечто подобное рассказывал мне Сашка-вор. Он прибыл к нам из лагерей «Бодайбо», расположенных на реке Витим (приток Лены).

— Ну и дрались мы! Не то, что вы, лапти. Один раз в нашем лагере сто пятьдесят человек прикончили.

— За что? — спросил я.

— Видишь ли, у нас было две группы. И вот лагерное начальство натравило одних на других: уголовников на политических. Даже ножи нам дали. Мы, конечно, разобрались, в чем тут дело, и сразу объединились. Зло нас заело против начальства — и понеслось! Взяли камни, кирпичи и давай пулять в часовых. «Попки» сразу с вышек скатились.

Сашка-вор рассказывал с увлечением, но в конце рассказа глубоко вздохнул и задумался:

— Видишь ли, власть не у нас, а у них! Где нам было устоять? Они вызвали воинскую часть, и нас сразу усмирили. Началось следствие, допросы. Всех разбросали по разным лагерям. Вот я к вам попал... Хорошо тут... Теплее...

Начиналась комплектация рабочих бригад. Я оказался в бригаде лесорубов. Одевали нас хорошо, по-зимнему. Большие снега толстым слоем покрывали крыши барakov. Снег лежал на одном уровне с заборами. По зоне были проделаны тропинки, как тоннели. Дороги чистил бульдозер. На лесоповал нас водили под усиленным конвоем. Идя по глубокому снегу, люди быстро уставали и приходили к месту работы не раньше полудня. Конвой делал оцепление, стоял по пояс в снегу, а мы в первую очередь спиливали сухое дерево для костра, а потом валили полдюжины деревьев по наряду.

Через несколько дней меня перевели в лагпункт № 2 электриком жилой зоны. Большую часть времени я проводил за чтением книг. Лагерная библиотека и здесь была богатой.

Начальник лагеря, высокий, сутуловатый человек средних лет, был всегда мрачен, ругал нас нецензурными словами, во все мелочи лагерной жизни вникал сам. Но это был человек исключительной доброты, внимательный к нуждам заключенных. Рабочие бригады никогда не выработывали своих норм, но начальник старался все-таки давать дополнительное питание. Мы догадались, что начальник свою доброту умышленно прикрывал грубостью. Бывали случаи, когда надзиратели сажали провинившихся в карцер. Приходил начальник, неизменно ругал заключенного, потом говорил конвоиру, уже тише:

— Ну зачем ты его посадил? Он сам скоро сдохнет... Освободи!

Такие начальники и администраторы встречались часто, но они долго на своей должности не задерживались. Их убирали. Власти нужны были люди с твердым характером. Нам прислали нового начальника, майора Ситнева. Это был тихий, скромный, незаметный человек, но лагерь он сразу взял в «ежовые рукавицы».

Однажды после подъема по всему лагерю пронеслась весть: «Сталин умер!»

Нам не верилось. Мы бегали по баракам, уточняли, спрашивали других:

- Неужели он сдох?
- Загнулся!
- Слава Тебе, Господи! Я пережил людоеда!

В полдень загудели гудки всех окрестных фабрик. Надзиратели нас предупредили заранее, что, когда будут гудки, каждый должен снять шапку и стать по стойке «смирно». Большая, небывалая радость от этой вести наполняла сердца всех заключенных. Каждый день после смерти Сталина мы ожидали перемен. Ведь многие из нас сидели за пустяки. Однако пересмотра дел не было, сроки не уменьшались, но режим значительно облегчили. Заключенным, которые выполняли нормы, начали платить деньги. В лагере открылся ларек, где можно было купить сахар, конфеты, крупу, белый хлеб. При выходе из столовой стоял стол. На стол клали кусочки хлеба те, у кого он оставался. И таких было много. Это было нечто новое, небывалое. Питание улучшилось, но истощенным людям «приварка» всегда было мало. Помню случай, когда я вместе с водопроводчиком Галкиным ставил на

кухне вентилятор. Нам нужна была помощь, и мы взяли из бригады ярославца Орлова. После окончания работы щедрый повар дал нам по миске густой каши с маслом. Орлов ел эту кашу с жадностью. Я ему отдал свою порцию. Водопроводчик Галкин последовал моему примеру:

— Бери, Орлов, мою кашу. Ты работаешь в бригаде тяжело, а мы что? Бездельники, да еще повар нас подкармливает...

Орлов качал вспотевшей головой, довольно улыбался. Несколько раз икнув, он сказал:

— Жалко оставить такое добро. Надо доесть.

Он вышел во двор, вставил два пальца в рот, вырвал содержимое и, возвратившись на кухню, доел третью миску каши.

С переменой лагерного режима менялся и характер людей. Не было прежней настороженности, цепляния за жизнь, озлобленности. Я более трех лет хранил чемодан сухарей, как неприкосновенный запас на всякий случай. Сухари были засушены пайками по 700 граммов и плотно, как кирпичики, уложены в чемодане. Каждый раз при обысках охрана высыпала сухари, и мне стоило немало труда укладывать их снова, чтобы закрыть крышку. Иногда я видел во сне, будто мой чемодан украден, и тогда я ходил в каптерку проверять, цел ли мой «эн зэ» (неприкосновенный запас). Теперь я открыл чемодан, предлагая желающим:

— Братва, берите, поминайте вождя!

Охотников было очень мало.

В нашем лагере сидело много евреев. Они получали

посылки и лагерную кашу отдавали другим, прожорливым субъектам. Евреи, в основном, были на лагерных должностях. Они вели себя тихо, жили дружно. С некоторыми из них я был в хороших отношениях. Бывший полковник, еврей, говорил:

— Знаешь, Миша, ты мне положительно нравишься.

— Почему? Ничего хорошего во мне нет.

— Ты любишь читать, видно, правду ищешь. Но в книгах правды не найдешь.

Однажды, после обсуждения одной книги, он мне заметил:

— Россией управлял не Сталин, а Президиум. Там их человек пятнадцать. Им как раз подходил Сталин, а не понравится Маленков, они его уберут в два счета. Одна надежда — Америка. Но ты запомни мои слова: если Америка проглядит, она в два счета накроется. Тут игра, как в карты: кто кого надует.

Как-то я спросил полковника-еврея:

— Что вы думаете о Христе?

— Выдумка, больше ничего!

Я с ним не спорил, но подумал: «Вот за это страдает Россия. И будет страдать, пока не покается».

Незадолго до смерти Сталина все евреи были поставлены на особый учет в спецчасти. В лагере их начали терроризировать. Всех сняли с лагерных должностей, послали в рабочие бригады. Часто в полночь надзиратели открывали бараки и спрашивали дневального:

— В секции есть жида?

Дневальные уклонялись от ответа:

— Откуда я знаю? Не мое это дело.

— Ишь, какой умный. Потому ты и сидишь. Где бригадир?

Бригадир был обязан указать евреев. Их брали на ночные работы в лагере, а утром снова посылали на работу вместе с бригадой.

После смерти Сталина положение моментально изменилось. Ходили слухи, что только смерть Сталина спасла евреев в России.

В новом лагере начинались новые знакомства. Часто прибывали новые люди. В долгие зимние вечера разговорами мы отводили душу. Свежих людей слушали охотно. Мой сосед по нарам, шустрый, небольшого роста, моряк Николай Дудукалов, любил рассказывать о себе:

— Вот уж никогда не думал угодить в тюрьму! Не был ни в плену, ни в оккупации. Служил на Тихоокеанском флоте честно.

— За что же тебе вlepили «катушку»?

— За бабьи доносы. Теща меня посадила, чтоб она...

Моряк ругался, оглядывал всех узкими глазами и, убедившись, что его готовы слушать, продолжал:

— Вернулся я из плавания, а бабенка моя того... По рукам пошла. Конечно, я это не стерпел, дал ей по мягкому месту мешалкой. Выгнал ее. А тут теща взъелась. Подрался я немного, ну и угодил на Лубянку. А на Лубянке, сами знаете, морской душе жить трудно. Один раз я саданул надзирателя под девятое ребро, а он того... Слетел с колес и на другой день Богу душу отдал. Вот двадцать пять лет и отвалили.

— Ты, Николай, расскажи, как в Америке люди живут. На чем там землю пахут? — спрашивал моряка кто-нибудь.

Дудукалов умел рассказывать, и его рассказы ходили по секциям, как анекдоты.

— Прибыли мы, значит, однажды в Сан-Франциско. Хороший такой город, красивый, весь на горах стоит. Дома, как игрушки. Отстоял я вахту, помылся, побрился. Ну, думаю, потопаю в город. Старшина отпустил. Зачесал я на главную улицу, что Маркетстритом у них называется, а там магазинов! Ну, как в Москве, только еще больше. Зашел я в один, смотрю, там дамские лакированные туфли по дешевке продаются. Я говорю: «Давайте мне, моряку, два картона!»

— Ты, значит, по-ихнему гуторишь? — спросили моряка.

— Нет, их китайской грамоты я не знаю. На пальцах показал. Заплатил за два картона пять долларов. Продавец на меня косо посмотрел, а я себе говорю: «Не косись, не косись, тут не спекуляция. У меня родных целая бригада». Ну и радости было дома! Туфли черные, лакированные. И жена, и теща, и сестры носились с туфлями, праздника ожидали. Надели они их на Первое мая, а тут как раз пошел дождик. Туфли сразу разлезлись, каблук отвалились...

— Неправда!

— Точно! Туфли-то выпускались для покойников. Потому и дешевка.

В бараке долго смеялись над Дудукаловым, а он продолжал:

— Там, в Америке, брат, демократия. Покойников одевают, как на свадьбу. Гроб тысячу долларов стоит!

— Неужто правда? — удивлялись слушатели.

— А бабы там — ну просто смех один. Худые, костлявые, как будто им жрать нечего. Ногти на ногах накрашены. Мужа отправит на работу, а сама сядет в автомобиль, нажмет кнопку — и поехала... Радио играет, над мотором хворостина торчит.

— Вот бы ее в наш колхоз на уборку! — вставлял кто-нибудь свои соображения. — Сразу бы с нее жидкость потекла.

Бывший лейтенант-танкист Женька также был любимцем нашей секции. Он хорошо пел и играл на гитаре. Когда в бараках долго не зажигался свет, тогда начинал свои выступления Женька:

Цыганка старая на картах трепанных
Гадала раннею весной:
Вот выпала тюрьма центральная,
Казенный дом передо мной.

Отлично знаю и без гадания:
Решетки толстые мне суждены.
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены.

Женька-танкист прошел всю войну на фронтах, но чем-то провинился, и его бросили в штрафной батальон. На территории Польши он перебежал к немцам. После

окончания войны он подружился с советскими представителями, ведавшими репатриацией советских граждан. Однажды он пьянствовал с ними до поздней ночи, а утром проснулся в советской зоне. Следователь предложил ему написать письмо жене, чтобы она вместе с двумя детьми возвращалась в СССР.

— За тобой ничего особого нет, — заверял его следователь. — Ну посидишь полгода, а потом будешь жить вместе с женой.

Как только жена приехала, ее сразу же послали в Донбасс на работу, а ему дали двадцать пять лет. Теперь жена писала ему письма, облитые слезами: «Ты мою жизнь, Женька, и детей погубил. Дети поумирали, а я теперь сирота».

Окрестности Камышинских лагерей очень быстро заселялись амнистированными уголовниками. Многих выселяли сюда из центральных районов России. Работа оплачивалась хорошо. Шахтеры и экскаваторщики получали по пять-шесть тысяч рублей в месяц.

Нам было известно, что в ближайших деревнях и поселках очень часто случались грабежи и убийства. Перед этими событиями больше половины уголовников и «бытовиков» были освобождены по амнистии. Политических эта амнистия не касалась, особенно власовцев. Из всего нашего лагеря политических освободили семь человек.

В районе Камышинских лагерей были открыты колоссальные залежи коксующегося каменного угля. Он добывался открытой разработкой. Снималась верхняя

часть грунта, и уголь брали экскаваторами. Заключенные часто говорили между собой:

— Столько добра лежит в нашей русской земле, а жизни нету...

В Междуречье быстро возводился город. На наших глазах один за другим вырастали пятиэтажные дома, сразу же прокладывались трамвайные линии, открывались школы и больницы. Склоны гор быстро застраивались небольшими частными домиками. Люди трудились день и ночь, как муравьи.

— Спасибо Маленкову, — говорили некоторые, — отпустил немного.

Лето было жарким и сухим. Во время грозы и бурь гасло электрическое освещение. В небеса взмывали десятки ракет, и тогда наш лагерь выглядел как фронтовая линия.

Мою жизнь в лагере облегчала моя специальность электрика. Я имел дополнительное, диетическое, питание. А получил я это питание случайно.

Врачом и начальником нашей санчасти была жена майора Ситнева. Она носила фамилию первого мужа — Козлова. Как электрик, я обслуживал также и санчасть. Однажды меня вызвала Козлова и говорит:

— Не можете ли вы исправить мое кольцо? Бриллиант выпадает.

Я взялся за исправление кольца в ее кабинете. Она внимательно наблюдала за моей работой и, заметив мои чистые пальцы, спросила:

— Видно, вы не курите.

— Нет, за всю жизнь я не выкурил ни одной папиросы.

— Имеете переписку с родными?

— Нет, — ответил я, — мне стыдно им писать. Я сын глубоко верующих родителей. Меня учили верить в Бога, кротости, смирению, учили удаляться от греха, прощать обиды, любить врагов, а я вот оказался преступником.

— Судили по уголовной?

— Нет, по политической.

— Таких преступников у нас полстраны. Не бойтесь, пишите родным.

— Что же я им напишу?

— Да, — задумчиво протянула врач Козлова и, глубоко вздохнув, добавила: — Теперь никто не говорит о Боге, а Бог, наверное, все-таки есть. Вы зайдите ко мне во время приема, я пропишу вам диетическое питание.

Моя жизнь в лагере наладилась, но сидеть двадцать пять лет за проволокой я не собирался. Все чаще я говорил с друзьями о побеге. Мне казалось, что бежать можно. Разливом реки под вахтой промыло большую дыру. На нее никто не обращал внимания, так как перед вахтой стояло проволочное ограждение. Над вахтой, на высоком столбе, ночью горела мощная лампочка. Этот столб обслуживал я.

Однажды я взял тачку угля и как будто нечаянно опрокинул ее на дороге, которую, в случае побега, надо было бы переползать. Мой друг, Ленька-москвич, с которым я делился планами, принялся за «работу». Он

собирал этот уголь с учетом местности. Широкое черное пятно так и осталось на дороге. На другой день я отсоединил лампу. Бежать собрались вчетвером, двумя парами. Ленка брал с собой Ваську Хромого, отъявленного бандита. Он уже совершал побег в Караганде, но попался, был избит до потери сознания и долго лежал у выходных ворот «для назидания» другим. Теперь он снова горел желанием вырваться на свободу.

Я думал, где бы найти место помолиться Богу о победе, но, вспомнив мои неуслышанные молитвы в Праге, оставил эту затею. «Бог занят небом, а не землей», — повторял я свое убеждение.

Как только пришло время побега, в мое сердце закралось сомнение: хорошо ли я делаю, что бегу с бандитом, на совести которого семнадцать убийств? И теперь он гово-
ворил:

— Смотри, Мишка, будь готов на мокрое дело. Если кто встретится на пути — живых не оставляй. Иначе нам труба.

«Не взять ли мне с собой Виктора? — подумал я. — У него высшее образование, а получил двадцать пять лет за то, что сдался немцам с оружием в руках». Его выдали «советам» американцы из Платлинга, известного в Германии лагеря для власовцев. Он был старше меня на десять лет, имел жену и детей. Я поговорил с Виктором. Он согласился на побег.

Перед отбоем Вася спрятался под летней сценой. Мы с Леной жили в бараке хозобслуги. Барак на ночь на замок не запирался.

Настала темная ночь. Я не спал, ходил по зоне. Надзиратели не раз встречали и спрашивали:

— Куда идешь?

— На кухне проводка сгорела, — отвечал я.

После полуночи я провел первую пару беглецов к канаве. Пользуясь тенью барака, они быстро проползли к заграждению. Я поспешил в барак, где ждал Виктор. Он не спал. Я взял его дрожащую руку, шепнул:

— Пошли.

— М-м-мо-ожет, нет? — стучали зубы у Виктора.

— Не подводи меня! Пойдем! — настаивал я.

— Не-не могу, Миша. Поверь, не могу. Ноги не двигаются.

В бараке кто-то проснулся, поднял голову. Я вышел. «Идти одному? — думал я и сам себе отвечал: — Нет, один в поле не воин». Я вернулся в свой барак с надеждой, что если дыру охрана не заметит, то вечером я уйду с другим товарищем.

Вечером следующего дня, перед наступлением темноты, лагерь подняли по тревоге. Началась строжайшая проверка. Утром стало известно, что беглецов поймали. Васька был так избит, что я его не узнал. Лицо его было в ссадинах и синяках. Некоторое время беглецы лежали напоказ у ворот. На бледном лице Васьки кривился голубоватый рот:

— Водицы дайте.

Потом их перевели в лагерную тюрьму на следствие. За побег каждый получил по пять лет дополнительно к сроку.

Вслед за этим событием в лагере организовали штрафную бригаду. Ее не выпускали за зону. В бригаду были включены все, кто имел побеги и кто был у начальства на подозрении. Бригадиром был назначен Туманов Иван, рослый, с большой бородой москвич. Эту бригаду называли «бригадой головорезов». Однажды Туманов подошел ко мне и, косо озираясь, начал разговор:

— Что, Миша, голову повесил? Ждешь освобождения?

Туманов поглаживал бороду, как бы что-то обдумывая, ждал удобного момента сказать:

— Думаешь, нас освободят американцы? Не жди, не будет. Надо самому себя освободить. Видел передвижную электростанцию, что привезли в лагерь? А откуда? Из Лондона. Так что, браток, англичане да американцы даже помогают давить нас. Вот и Сталин умер, а мы как сидели, так и будем сидеть.

Туманов лукаво улыбнулся, перешел на шепот:

— Я видел, как вы метали икру. Все мне известно. Не сумели дело организовать как надо! А теперь вот полы срывают, подкопы ищут. А раньше была слабинка. Можно было хорошее дело организовать. Да и теперь еще можно. Только хлопцев надо посмелее. Как ты думаешь? А?

Я был против групповых побегов и оставил Бороду (так называли Туманова) без ответа.

Через несколько дней мне стало известно, что Борода взялся за организацию побега. Его бригада работала на постройке моста, копала канавы, закладывала канали-

зационные трубы. Борода решил сделать подкоп из-под моста под забор. Желających бежать было много, и мне не раз говорили:

— Готовься, Мишка! Или сотня убежит, или будет мясо.

Туманов ходил возле бригады, заложив руки за спину, покрикивал на своих штрафников:

— Ты, Хромой! Какого лешего сидишь? Иди работай!

Надзирателям казалось, что Туманов усердно работает, и на бригаду не обращали внимания. А подкоп продвигался с каждым днем. Чтобы ускорить работу, Туманов оставил двух добровольцев на ночь. Я знал этих двух пареньков с татуировкой по всему телу. После вечерней поверки они залегли под мостом.

Ночью лагерь погружался в абсолютный покой. Все бараки на ночь запирались.

Работать в норе, где не хватает воздуха, не каждый мог. Нужно было ползти двадцать-тридцать метров, накопать шпателем земли в наволочку и тянуть ее в зубах под мост. Парни устали, захотели пить. Они пошли на кухню, чтобы выпить воды, но как только они вылезли из-под моста, их заметил часовой и по телефону сообщил на вахту. На кухне их оцепили надзиратели. Один сдался сразу, а другой вскочил в лагерную уборную и нырнул через очко в яму, наполненную человеческими испражнениями.

— Давайте фонари! — кричали надзиратели. — Где ты, гад?

— Утоплюсь, но не сдамся живой! — кричал парень из ямы.

В лагере поднялся переполох. Первого парня уже избивали.

— Дайте мне пожить! Дайте пожить! — кричал он, лежа на животе.

Вскоре были слышны только стоны да хриплые рыдания. Сапоги надзирателей безжалостно месили его тело. Тем временем надзиратели принесли фонари и длинные жерди.

— Эй, ты, хватай конец!

Несколько раз его захватывали, подтягивали к дыре, но он снова обрывался в яму.

— Утону, но живым не сдамся, — доносился его голос.

Его вытащили, когда он окончательно изнемог, задыхаясь от вони. Вонь наполнила весь лагерь. Парня не избивали. Он лежал на земле, едва дыша. Прибыло лагерное начальство.

— Обливайте его теплой водой! Давай воду!

От этого вонь распространилась по лагерю еще сильнее. Я смотрел из окна барака вместе с другими заключенными и думал: «Как дорого достается людям свобода! Понимают ли это те, кто не сидел в тюрьме?»

На другой день мост через канаву был разобран, а подкол утрамбовали. Пойманные пребывали под следствием. Туманов ходил хмурый, сердитый. Видно, боялся за свою жизнь. Встретив меня, он покачал головой и сказал:

— Вот подлецы! А? Спалили такое дело! Если бы не пошли на кухню, все было бы в порядке. Ушло бы не меньше сотни. А теперь, гляди, могут и меня засадить.

Пойманные всю вину взяли на себя и никого не выдали. Уголовники строго соблюдали закон круговой поруки.

После этих событий режим в лагере стал еще строже. На кухне поставили решетки, поваров на ночь запирали. Более активных бросили в лагерную тюрьму. Оперуполномоченный, младший лейтенант Редько, тучный, низкого роста украинец, стал чаще заглядывать в бараки:

— Ну що, хлопцы, присмирели?

Осенью 1952 года меня вызвали в надзирательскую, раздели до белья и втокнули в комнату, где на полу уже лежало пять человек. Один из них сразу же обратился к надзирателю:

— Гражданин надзиратель, дайте ботинок подложить под голову.

— Прекратить разговоры! — прохрипел в ответ надзиратель.

Я прилег на цементном полу. Просивший ботинок, бледный, как бумага, человек заговорил:

— Вчера был хороший надзиратель. В одиннадцать часов дал нам всем по ботинку, подложить под голову, и мы хорошо спали. А этот какой-то идиот.

Утром в окошко с козырьком начал рываться лагерный шум. Людей разводили по работам. Кто-то постучал в окно. Один из сокамерников сказал:

— Иди, наверное, тебе бросили.

Под окном, на прибитой, как в овечьих яслях, доске лежала пайка хлеба. Я с трудом протащил ее через решетку. Оказалось, друзья делились пайкой — ловко бросали ее в козырек окна.

Днем в карцер зашел Редько.

— Есть вопросы? — спросил он сердито.

— За что вы меня посадили? — спросил я.

— Будешь подписывать постановление, тогда узнаешь.

— Есть вопросы? — пробурчал он снова.

Все молчали. На другой день в карцер зашел майор Ситнев, начальник лагеря. Я спросил у него:

— За что меня посадили в карцер?

— За карие глаза, — ответил он шуткой. — Сам должен знать.

Через три дня нас отправили в лагерную тюрьму. Перед отправкой каждому дали «постановление», где значилось: «За нарушение лагерного режима».

«Значит, начальство разгадало мои замыслы», — мелькнуло у меня в голове.

Лагерная тюрьма — тюрьма в тюрьме. Это мрачный одноэтажный барак, пропитанный хлоркой. Пол бетонированный, нары двухъярусные, дверь железная. Вдоль барака — коридор, по сторонам — камеры. В камере пять на семь метров томилось около сорока человек. В изголовье нар была прибита доска, на которую можно было класть голову. В углу камеры стояла бочка для оправления. От «параши», где дали мне место, несло смрадом. Один раз в день давали полчасаговую про-

гулку, и мы ждали этих счастливых минут, как освобождения.

Моим соседом оказался Борис Федорович Игнатенко — худой, узколицый, с впавшими глазами молодой парень. Он родился в 1928 году в Москве, и мальчиком был вывезен в Китай. Учился в Харбине и в Шанхае, изучил английский язык, бывал в разных странах. В 1948 году он шел по улице Шанхая. Из-за угла вынырнул автомобиль и остановился рядом с ним. Из машины вышли два человека и приветливо спросили по-русски:

— Как проехать на вокзал?

Не успел Игнатенко ответить, как его ударили по голове. Он потерял сознание. Пришел в себя несколько дней спустя на советском корабле. Ломило тело, в голове стоял шум, а доктор в белом халате нагнулся к нему и сказал:

— Не беспокойтесь. Вы в надежных руках советского КГБ.

Его обвиняли в антикоммунистической пропаганде и осудили на двадцать пять лет трудовых лагерей. Теперь он сидел с нами на нарах, по-китайски подобрал ноги под себя, задумчиво глядел на грязную стену тюремной камеры и говорил:

— Друзья, если кто выйдет отсюда живым на волю, расскажите людям, что в тюрьмах сидят не враги народа, а русские патриоты. Врагами их сделала советская власть.

Вторым моим соседом был молодой ленинградский инженер Юрий Николаев. Он прибыл к нам с отдельным этапом из Норильских лагерей. Норильск распо-

ложен в Заполярье, в низовье Енисея. Там шла разработка колоссальных залежей никеля, меди, кобальта и платины. Юрий особенно восхищался залежами никелевой руды.

— Вы знаете, — говорил он воодушевленно, — какое это богатство! Это же миллиарды долларов! В руде содержится 21% чистого никеля. Вот какая наша страна богатая! А жить не умеют, порядка нет. Выезжают на заключенных. Сколько их там!

Юрий рассказывал интересный случай:

— Однажды видим, пожилой заключенный пошел к вышке и начал разговор с охранником из войск МВД. Мы думаем: что такое? А «попка» разговорился! Его же за это могут сразу арестовать. К вышке поспешило начальство. Позвонили дежурному. Дежурный поднялся на вышку, а часовой продолжает разговор, не обращая ни на кого внимания. «Молчать! — крикнул дежурный. — Ты с кем разговариваешь?» «С родным отцом, — ответил охранник, не поворачивая головы. — Я пять лет его не видел и, наверное, больше никогда не увижу...» С поста его сняли, и больше мы его не видели.

В нашей камере штрафной тюрьмы сидели также два старика — за религиозные убеждения. Они не подчинялись лагерному начальству и уже отбыли несколько тюремных сроков.

— Советская власть — это антихристова власть, а мы антихристу подчиняться не будем, — твердили они в один голос. Светящиеся глаза сектантов дико блуждали по

стенам камеры. — Пусть прикончат, а сатане мы не подчинимся. Мы — Христовы рабы.

Несколько раз им нашивали лагерные номера, но они демонстративно их срывали:

— Это — печать сатаны. Не принимаем!

Их выталкивали голыми на снег, но они падали на колени, молились, судорожно осеяли себя крестом. Теперь, в камере, они часто преклоняли колени и демонстративно молились. Им никто не мешал.

Они были словоохотливы. Писания они совершенно не знали и никогда его не читали. Свою веру они приняли от других. День и ночь нам приходилось сидеть на нарах вплотную друг к другу. На прогулке мы ходили по кругу с руками за спиной, с жадностью вдыхали свежий воздух.

«О воздух! Свежий воздух! Какой это великий дар! В лагере воздуху много, а нам и подышать не дают», — думал я.

Через два месяца меня освободили, то есть перевели в лагерь. Друзья меня не узнавали. Я был бледный и худой, волосы поседели. Каждый день болела голова, тянуло на рвоту. Двухфунтовая хлебная пайка лежала нетронутой. Я потерял аппетит.

В лагере я пожил только две недели. Меня снова арестовали. Теперь со мною сидели Туманов, Вася и другие, готовившие побег. И опять в камере новые люди, новые рассказчики. Но теперь меня не увлекали рассказы. Мое здоровье окончательно пошатнулось. Я выбросил из головы земные планы и начал снова обращаться к Богу с

одной и той же молитвой: «Господи, помилуй и спаси мою грешную душу...»

Прошло тридцать томительных дней. Я страдал бессонницей и головной болью. Неожиданно в нашу камеру вошла комиссия, а в ее составе — врач Козлова в форме лейтенанта МВД. Мы все сидели на нарах, поджав ноги. Я постарался пролезть вперед, чтобы Козлова могла меня заметить.

— Как себя чувствуете? — спросила она неуверенно.

— Очень плохо.

За меня вступился Туманов:

— Гражданка врач, заберите его отсюда: он не спит, скоро помрет...

Козлова ничего не ответила, но, выходя из камеры, еще раз взглянула на меня.

— Вызову вас на проверку, — вполголоса сказала она.

— Даст тебе две таблетки, и ты заснешь навеки, — шутил Туманов, трясая своей широкой бородой.

Вскоре меня вызвали в надзирательскую. Там сидела Козлова. Она послушала мое сердце и сделала укол. У меня закружилась голова, и я упал в обморок. Когда пришел в себя, Козлова сидела на том же месте и что-то писала.

— Не бойтесь. Этот укол вас укрепит. Пойдете в больницу... «Слава Тебе, Господи, — подумал я. — Может, оттуда убегу».

Утром меня снова вызвали в надзирательскую. Там сидели двое туберкулезных. Они надрывисто кашляли. Кашлянул и я.

— Когда кашляете, надо отворачиваться, — строго сказал начальник.

— Извините.

— Нечего извиняться. Вот отведем вас в больницу, там кашляйте сколько угодно, до самой смерти...

Больница занимала часть зоны второго лагпункта. Меня поместили в палату, где не было заразных больных. Опять новые люди, новые друзья, новые рассказчики.

Сосед по палате, молодой парень, ослеп от переживаний. Его выносили на солнце, он улыбался и говорил, по-детски радуясь:

— Ах, солнышко, солнышко! Как это я раньше не замечал, что ты такое хорошее, ласковое, как родная мать...

У второго, красивого, чернобрового парня лет двадцати, было больное сердце. Он должен был только лежать. Третий, Сергей из Минска, заканчивал десятилетний срок. Он страдал ревматизмом и часто повторял:

— Как же я буду жить на высылке? Меня же всего крутит. Калека я...

В больнице я видел доктора Асеева, выдающегося советского хирурга. Он имел двадцатипятилетний срок заключения и работал в больнице как специалист.

С Междуреченского лагеря к нам был перевезен известный певец Ленинградского оперного театра — Пичковский. Он получил десять лет заключения за разврат. Советская власть, карая преступников, не делала скидок никому. Пичковский — типичный гомосексуалист. Он не прекращал своих преступных занятий и в лагере. Когда

его посадили в карцер, а потом в лагерную тюрьму, в постановлении оперуполномоченного значилось: «За антисанитарию во рту». Это выражение долго ходило по нашему Ольжерасскому лагерю. После лагерной тюрьмы Пичковский ходил по зоне хмурый и сердитый, с обвисшим, как отмороженным, лицом. Из барачных окон кричали:

— Эй, падла, как дела?

— Эй, Пичковский, здесь один парнишка тебя ищет!

Пичковский никому не отвечал, ни с кем не разговаривал, не здоровался. Все теперь знали, что он мушкетер, и каждый старался держаться от него подальше. Врачи пытались ему помочь, но все было без результата.

Питание в больнице было хорошее, но я поправлялся медленно. В больнице было много нервных больных и умалишенных. Они сидели за решеткой и дикими голосами выкрикивали странные слова. Это действовало на меня угнетающе. Теперь я чаще благодарил Бога, что хоть я и за колючей проволокой, но у меня есть некоторое здоровье.

Загорать на солнце долго мне не пришлось. Внезапно начались сборы на этап всего Камышлага. Засуетилось начальство, встревожились заключенные. Больница была назначена на отправку в последнюю очередь.

По ночам в лагере гудели машины, нагруженные «живым товаром». Больных и инвалидов отправляли в Тайшет, а я, выглядевший здоровым, оказался в третьем эшелоне.

Незабываемо тяжелой была картина погрузки умалишенных. Одни громко декламировали, другие просто кричали, третьи ругали власть, некоторых заковывали в цепи, иных держали охранники.

В пути мы узнали, что наш эшелон направляется в омские лагеря. На одной из узловых станций до нас дошла весть, что Берия арестован. Эта весть поразила не столько нас, заключенных, сколько наших конвоиров. Они сразу же притихли, присмирели, стали мягче с нами обращаться. В вагонах только и говорили о Берии:

— Ну, братва, дело идет к концу! Может, Рождество будем праздновать на воле...

Нашим надеждам не было суждено осуществиться. Свободу надо было добывать самим.

ОМСКИЕ ЛАГЕРЯ

Нас везли через город Сталинск. Из окон вагона можно было видеть крупнейший в СССР металлургический комбинат, несколько десятков мартеновских и доменных печей. Невдалеке от этих гигантов размещались рабочие поселки, серые коробки общежитий.

От Сталинска наш эшелон тянули электровозы. На поворотах можно было видеть все вагоны с охраной. На остановках раздавались крики конвоя:

— Куда прешь? Вернись!

— Не подходи!

— Куда же нам идти? Мы тут все время ходили, — слышались голоса местных жителей.

Новосибирск проехали ночью, и через двое суток, рано утром, мы увидели омскую товарную станцию. Сразу же маневровый паровоз начал таскать наши вагоны по ветке на север, ближе к лагерям. От конечной остановки нас вели строем в лагерь № 1. Отделение разместили в четырех лагерях. Некоторые бараки еще не были достроены, и мы спали в палатках. Каждый день были встречи со старыми друзьями по лагерям. На работы выгоняли немногих, так как еще не были готовы рабочие объекты.

Через несколько дней я оказался в группе из ста пятидесяти человек. Мы все имели лагерные взыскания. Нас перевели в лагерь № 4. Там меня встретил мой друг по несчастью Жора Безуевский.

— Ну вот, друг, я так и знал, что ты будешь здесь. Раз сидел в «буре», значит, загорай здесь...

Я был очень рад этой встрече. Нас разлучили в 1949 году, а теперь, четыре года спустя, мы снова встретились. Уже на другой день мы вернулись к разговору о побеге. Чем двадцать пять лет томиться в лагерях — лучше умереть от пули охранника. Жора рассказывал, что ни один побег в Карагандинском лагере не был удачным. Рано или поздно, но всех беглецов ловили. Я говорил Жоре:

— Видно, коммунизму помогает темная сила. От Бога отреклись, церкви разрушили, религию гонят, а им везде везет. И войны, видно, не будет... Америка им уступает.

Жора умел рассказывать, но и любил послушать. Когда я ему рассказывал, что я теперь молюсь Богу, он принял это всерьез и спросил:

— О чем же ты молишься?

— О спасении души! Я верю в бессмертие.

— Да, друг, это мне надо больше тебя. Много я зла натворил! Но как же мне молиться, если вот планируем бежать, а там без мокрого дела, может, и не обойдешься. Зачем молиться?

— Я думаю не так: если удастся совершить побег, то только с Божьей помощью. Иначе не убежишь.

Мы бродили по жилой зоне, ожидая отбоя. Жора говорил вполголоса:

— Да, Миша, я тебя люблю за то, что ты из религиозной семьи. Знаю — ты меня не предашь. Я верю, что тебя Бог не оставит, а насчет меня — не знаю. Плохие у

меня предчувствия. Вот ты говоришь, надо покаяться, Богу молиться. Верно, надо... А жизнь-то моя какая в лагере? Надо защищаться, как зверю. Тебе хорошо — у тебя золотые руки, а я что умею? Вот и хитрю, иначе сразу загнешься.

Жору каждый день гоняли на работу, он заметно терял силы, чернело его лицо.

— Как выйти из положения? — спрашивал он.

— Не знаю. Терпи.

Жора улыбнулся:

— А я знаю. Завтра изобью надзирателя.

На другой день Жора затеял спор с надзирателем. Тот на него закричал:

— Молчи, контра!

Жора схватил его за воротник, придавил к земле, приговаривая:

— Вот тебе, лапоть! Вывел меня из терпения.

Сразу же прибыл «опер». Он схватил Жору, увел в комендатуру. К вечеру Жора вернулся в барак веселый.

— Ну как? — спросил я друга.

— Ключет. Опер обещал дать мне пожить. Я так и сказал: или дайте пожить, или я кого-нибудь угроблю.

Вскоре Жору Безуевского назначили «корпусным» — старшим барака. В его распоряжении было двое дневальных. Они мыли полы, выносили и очищали параша, доставляли кипяток. В одноэтажном бараке было четыре секции, у входа находилась каптерка, где хранились чемоданы с личными вещами. Там спал Жора. Это откры-

вало нам возможность чаще встречаться и говорить о побеге.

Среди заключенных не прекращались разговоры о казни Берии. Многие ходили к начальству с жалобами:

— Когда же меня освободят будете? Меня ведь посадил враг народа — Берия.

— Это не наше дело. Наше дело вас, контриков, охранять, — следовал ответ.

При назначении на работу я попал на строительство казарм для воинской части. Их строили неподалеку от лагеря. Это занятие разгоняло лагерную скуку. Я делал временные проводки для пил и различных агрегатов на строительной зоне. На стройке я познакомился с Дабричевым Андреем Протасовичем, возвратившимся на Родину из Китая. Советская власть ему гарантировала свободу, и он бросил бухгалтерскую должность в китайском отеле и записался на выезд. Каждый раз, встречаясь со мной, Дабричев отводил меня в тихий уголок и там рассказывал:

— Ну и чурбаня, Миша. Такого с огнем не найти. Жена и то умнее оказалась.

— Как? Почему? — спрашивал я.

— Когда нас привезли из Шанхая во Владивосток, ты знаешь, что мы делали? Землю целовали от радости: «Прости, земля-матушка, родная... Принимай нас...» Рядом стояли люди и посмеивались. Я спросил одного:

— Чего смеешься?

— Чудаки вы, вот и смеемся. А вам теперь не придется смеяться.

Так оно и вышло.

— А дальше как? — спрашивал я у Андрея Протасовича.

— А дальше — сам видишь... Привезли нас в Свердловск, прожили мы на свободе год — и нас «загребли». Дали двадцать пять лет. Аллах их знает за что. Россия — страна чудес: был бы человек, а статья найдется. Ну ничего, Миша. Утешаюсь, что я не один такой дурак. Тут их, смотри, сколько! Тьма тьмущая!

На строительном объекте я отработал две недели, дал десятнику «на лапу» (взятку), и он записал мне выработку 300%, что дало мне четыреста шестьдесят рублей. Но когда высчитали за питание, обмундирование и за охрану, на руки выдали только сто сорок два рубля.

Новая система оплаты труда побуждала нас работать как можно эффективнее. Однако деньги получала примерно одна треть заключенных.

После казни Берии из лагеря начали освобождать заключенных. Но этими счастливицами были преимущественно бывшие партийцы-уклонисты. Одного генерала вызвали с работы, сняли с него лагерную одежду, одели в привезенное из Москвы новое генеральское обмундирование и отправили самолетом в столицу.

Так был вызван и отправлен в Москву и мой сосед по нарам, полковник Новодаров. Его осудили на двадцать пять лет за превышение власти на Кубани. Он был активным участником знаменитого восстания на Печере.

В наш лагерь прибыл этап из Дубравлага, где я был в 1951 году. Прибывшие говорили:

— У нас, в Дубравлаге, такая же история: больших людей освобождают, награды выдают, а нас, мелкую сошку, рассылают по другим лагерям.

Прибывшие из Дубравлага рассказывали, что незадолго до смерти Сталина у них был большой еврейский погром. Евреев били — кто хотел и как хотел. Потом всех евреев отделили и хотели куда-то отправить, но как только Сталин умер — все планы изменились. Евреям дали хорошие должности, многих освободили.

ПОБЕГ

Неожиданно меня перевели на другой рабочий объект, ближе к Омску. Каждый день конвой вел триста заключенных по проселочным дорогам на стройку типовых жилых домов. Каждому хотелось пройти четыре километра помедленнее, полюбоваться природой, но постоянные окрики: «Подтянись! Не оглядывайсь!» не позволяли этого.

Заключенные работали без норм выработки, лишь бы прошел день. Кормили нас хорошо. Много времени мы проводили в разговорах.

Однажды я забрался на крышу строящегося домика и любовался окружающей природой. Мысли о побеге преследовали меня день и ночь. И теперь я думал: «Надо во что бы то ни стало бежать, пока не стало хуже».

Я любил на стройке тихие места, главным образом на крышах. Однажды ко мне подошел молодой парень-украинец и начал свидетельствовать мне об Иисусе Христе и о спасении.

— Ты, дружок, не говори об этом с каждым, — заметил я.

— Почему? — спросил он удивленно.

— Донесут начальству, что ты — активный религиозник, и тебе добавят «пятерку».

— Я этого не боюсь. За Христа я готов еще десять лет отсидеть.

— Ты что?! Жить не хочешь? — спросил я его.

— А ты знаешь, что такое настоящая жизнь? Ведь без Христа и на свободе тюрьма, а с Ним мне и в лагере свобода.

Я не признался парню, что мои родители верующие, что я молюсь ежедневно, потому что собирался бежать. В случае неудачи люди бы сказали: «Видишь, какой он был верующий? Богу молился, а крест свой нести не хотел».

В нашей секции я знал парня из Донбасса, осужденного за религиозные убеждения на десять лет. Он отсидел два года, впереди было восемь лет. Он любил петь евангельские песни. Его одухотворенный взгляд часто задерживался на украшенных серебристыми тучками небесах. Однажды я спросил его:

— Петя, почему ты не женат? Это твоя ошибка. Теперь бы жена присылала передачи, все-таки было бы легче.

— Эх, друг мой, ты не знаешь, как я был счастлив с моим Господом! О женитьбе я даже думать не хотел. И хорошо, что не женат. Одному страдать легче.

Петя хорошо знал Писание. К нему часто приходил друг — баптист. Усевшись в темном уголке на нарах, они тихо беседовали о Библии, о Втором пришествии Христа, иногда тихонько пели. Я знал их песни, хотел присоединиться к их разговору, но предстоящий побег, как камень, висел у меня на шее, и я, прислушиваясь к их беседе, в душе молился.

Внезапно наступили осенние холода. Работа на строительстве домов прекратилась. Там я ничего не заработал.

Жора, встречаясь со мной, каждый раз настаивал, чтобы я старался устроиться электриком. Он считал, что совершить побег можно только при затемнении лагеря. Жора сказал коменданту, что в его корпусе есть перwokлассный электрик. Это помогло. Вскоре вызвал меня комендант (западник из заключенных) и сказал:

— Помогай старшему электрику, а то он, видно, так знает электричество, как я астрономию.

За несколько дней я привел в порядок освещение жилой зоны. Раньше половина лампочек горели вполнакала. И было это по той причине, что четвертый (нулевой) провод был не из меди, а из простого железа. Между фазами была неправильно распределена нагрузка. Наружное освещение включалось позже, а внутреннее — раньше. Получалось так, что с вечера в бараках был свет в полнакала, но когда включалось наружное освещение, напряжение не падало, а наоборот, повышалось, и барачные лампочки перегорали от перенакала. Вольнонаемный электрик, обслуживающий запретные зоны, не мог разгадать этой загадки. Долго мне пришлось убеждать его, что нулевой провод не нужен, когда нагрузка между фазами распределена равномерно. Но когда перегружена одна фаза, нулевой провод начинает работать как фаза, и, конечно, он должен быть медным, чтобы иметь хорошую проводимость.

Мы получили хорошие провода, поставили их, и свет стал нормальный. Меня зачислили постоянным электриком жилой зоны. Теперь я благодарил Бога за этот успех.

Вблизи нашего лагеря стояла воинская часть. Свет туда шел от нашей жилой зоны. Это затрудняло освещение гарнизона. Я предложил сократить путь проводки: непосредственно от трансформатора через запретную зону. Комендант распорядился принести столб. Я его вкопал около запретной зоны, и когда закончил работу, свет в гарнизоне стал нормальным. Это подняло меня в глазах начальства. Ко мне относились с уважением и доверием.

Стояла холодная зима. Дни я коротал в Жориной каптерке, занимаясь проектом короткого замыкания по всему лагерю. Надо было достать толстый кабель, провести его по столбу до рубильника и замкнуть все фазы. Только тогда могли перегореть предохранители на главной линии в 11 000 вольт. Жора видел, что я веду подготовку к побегу решительно. Он тоже изучал обстановку, думал, решал, присматривался. Однажды он пригласил меня в каптерку и, усадив возле себя, начал разговор:

— Знаешь, Миша, прежде чем бежать, я должен тебе рассказать, что означает быть беглецом. Говорю тебе из опыта: трудностей будет много. Будешь холодный и голодный не месяц, не два, а, может, год и больше. Может случиться, что и воды негде будет достать. Заранее говорю: придется воровать, чтобы выжить. Согласен ли ты на все это?

Что я мог ответить на этот вопрос, когда желание быть свободным человеком уже давно заполнило мое сердце?!

— Конечно, Жора, я не мальчик. На все согласен, на любые трудности, лишь бы обрести свободу, — подтвердил я свое решение.

Жора Безуевский, как я уже рассказывал о нем выше, в 1945 году был насильно выдан «советам» англо-американцами. После побега из брестлитовской тюрьмы он три года скрывался в лесах. Чтобы подготовить меня к скитальческой жизни, он охотно рассказывал о своих приключениях. Я слушал его с большим интересом. Он сидел возле небольшой железной печурки, подбрасывал дрова и, поглядывая на меня, принимался рассказывать:

— Бежал я из брестлитовской тюрьмы весной 1946 года. До Гомеля шел лесами, болотами, тропинками. Голодал, заедали комары, ночью привязывал себя на деревьях. Конечно, я не имел опыта такой жизни, и потому боялся показываться людям, а питался ягодами, собирал птичьи яйца, иногда удавалось подстрелить птичку из самодельного лука. Я так ослаб, что еле волочил ноги. Начались дожди. Ночи были холодные. Я заболел. Горячку перележал в копне сена. Жить не надеялся, а вот выжил, добрался до своего села, рискнул зайти к маме. Ей было семьдесят лет, и я часто видел ее во сне. Видно, она обо мне молилась.

В глазах Жоры стояли слезы, и они хорошо отсвечивали перед огнем печурки — крупные, как зерна, серебристые. Это меня смутило. Я никогда не предполагал, что в сердце Безуевского могут жить такие теплые чувства к матери.

— Встретила меня мама с радостью, — продолжал он свою повесть, — а я ей говорю: «Мама, не зажигай огня. Покорми меня, если что имеешь». — «Как это, сыночек?»

Что с тобой? Я на тебя и посмотреть не могу?» — «Я из тюрьмы убежал, мама...»

Рассказывал я ей о своей жизни, ел хлеб, запивая водой. Мама плакала, ломала руки: «Что же теперь делать, сынок? Ведь у тебя жена. Может, к ней зайдешь?»

«Нет, мама, не пойду. Надо подождать. Буду жить в лесу. Может, будет какая перемена, тогда выйду».

И вот, дорогой Миша, так началась моя лесная жизнь. Мама приносила мне еду в определенное место. Бывало, идет старушка с корзиной, как бы по грибы, на посошок опирается. Верст 10 приходилось ей ходить. Сядет на дороге, отдохнет, осмотрится: не следит ли кто за ней?

Жора на минуту замолк, подбросил дровишек. Я слышал, как он с трудом проглотил слюну.

— В базарные дни мама ходила в город, становилась на углу, продавала яблоки, а на вырученные деньги покупала буханку хлеба, картошки и несла мне в лес. Выживала меня, как младенца.

Пришла осень. Ну куда денешься, когда идут дожди? Матери ходить в лес тяжело, да и опасно. Что делать? Зашел я к старому школьному другу и говорю ему: «Не выдавай меня, пожалей мать-старушку. О жене я уже не говорю. Она другого найдет. Помоги мне, друг, ради Христа. Достань какое-либо ружьишко. Охотиться буду».

Друг был смекалистый. Он выслушал мой рассказ и говорит: «Жора, я очень злой на советскую власть, и тебя я не выдам. Есть у меня пистолет. Возьми его. Может, он тебе жизнь спасет. Советую тебе: иди к границе.

«Может, переберешься...» «Куда? — говорю я. — К американцам? Они же меня выдали. Если бы теперь началась война, поверь мне, я пошел бы добровольцем на фронт и стрелял бы в них до последнего патрона. А последний патрон вот сюда, в голову. А им бы я уже теперь не сдался. Раз обманули, теперь хватит».

Некоторое время Жора молчал. Когда прилив негодования прошел, он продолжал:

— Да, Миша, вот так мне приходилось жить. Деваться некуда, и я решил кого-нибудь ограбить, достать денег и выехать в другую область. Пробрался я на окраину Гомеля, где люди ходят по тропинке в пригород. Притаился в переулке, ожидаю жертву. На каждого проходящего смотрю и думаю: что у этого в кармане? Может, один рубль? А может, и того нет? Смотрю, идет майор в полной военной форме. Я за ним. Ну, думаю, в овраге я тебя, дружок, кокну и раздену. Майор будто почуял недоброе, оглянулся и закурил. А я думаю сам себе: «Закуривай в последний раз». Иду за ним. Он молчит, и я молчу. Не о чем майору разговаривать с мужиком. Я немного отстал, вытащил пистолет, направил ему в спину, а нажать курок не могу, как будто кто-то мой палец держит. В это время думаю: «Человек, наверное, идет домой. Там ждут жена и дети. А может, у него есть мать-старушка, как у меня... Что у него в кармане? Может, пару рублей да пачка папирос. Он мне зла не сделал, за что его убивать?»

Жора замолчал, жадно докурив «бычок», выглянул в коридор и, убедившись, что нас никто не подслушивает,

вернулся к печурке, еще раз подбросил дров и продолжил:

— Несколько раз я прицеливался в майора, но выстрелить не мог. Я сошел с тропинки, сел у оврага и заплакал, как плачут малые дети: «Эх, доля ты моя, доля... Если бы вот не выдали американцы, работал бы теперь в Германии на заводе, жил, как люди живут. А теперь что? Куда идти?»

Это, Миша, не все. Это было только начало. Беда пришла, когда ударил мороз. Теплой одежды нет, замерзаю. Получилось так, что хоть пулю себе в лоб пускай. Нет, думаю, рановато. Пошел я по деревням. Зайду, бывало, в какую-нибудь избу, поговорю с хозяином или хозяйкой о жизни. Люди обычно жаловались на председателей колхозов, на парторгов, на бригадиров. Разные бывают люди на селе. «А где же они живут?» — спрашивал я. Люди выкладывали мне все, от души. Может, они думали, что я секретный представитель высшей власти. А я в ту же ночь, бывало, заберу у председателя колхоза корову, уведу ее в лес, зарежу. Этим и жил.

По селам пошел слухок, что Безуевский грабит несправедливых партийцев. Бывало, встречаюсь с людьми, спрашиваю: «Как живете? Какие новости?» — «Да вот, — говорят, — ходит какой-то Безуевский и грабит сельское начальство, кто живет нечестным трудом». — «Как же он грабит?» — «Да вот у нас был предколхоза Петров, партиец. Не было нам от него жизни. У него, говорят, Безуевский увел корову. Райком дал председателю другую. И ту увели. Говорят, Безуевский не один. Партия

у него есть. Пришел к председателю ночью и говорит: „Мотай отсюда, пока я тебя не решил...“ — «И что же, он уехал?» — спрашивал я. — «Сразу же убрался, — отвечали мне люди. — Нам дали другого председателя». — «А этот как? Обижает?» — «Нет, этот получше. Тихий».

Рассказывая, Безуевский широко улыбался, изредка посматривая на меня. Я, слушая его, представлял, как буду жить в лесу.

Далеко за полночь я уходил от Жоры в свою секцию, ложился на нары и думал о побеге, о тех трудностях, которые могли мне встретиться.

Холодная зима 1953 года стояла долго. Солнце уже пригревало каждый день, но снег не сдавался, не таял. Мы решили бежать сразу же, как только откроется земля. С большим трудом Жоре удалось остаться в лагере: перед весной отправлялись этапы в другие лагеря. Наша зона расширялась, достраивались бараки, готовились к приему новых партий. Была нужда в электросварке, и я с большим желанием занялся этим делом. Электросварочный аппарат стоял около бани. Со столба к нему был подвод. Я решил здесь устроить замыкание, установил сильный рубильник, усилил два пролета воздушных проводов, сварил скобу, которую должен был вставить в нижние клеммы рубильника для замыкания всех трех фаз. Как только свет погаснет, эту скобу можно было вырвать и забросить, чтобы никто не открыл причины замыкания. Если по нас откроют огонь, когда мы будем на заборе, мы сможем вернуться в барак и отложить побег. Обычно, когда гаснет свет, 2—3 минуты стоит сплош-

ная темень, потом начинают пускать ракеты. Мы рассчитывали на быстроту.

Дни бежали незаметно. Пришел апрель. В лагере пахло сырой землей, пахло свободой. На столбе в железном кожухе, прикрытый дверью, как мина, стоял рубильник для короткого замыкания. Для лестницы были приготовлены сухие березовые бруски. Приготовил кусачки для разрезания проволоки. Все это хранилось у Жоры в каптерке.

На наших телогрейках были отпечатаны лагерные номера. Мы их аккуратно вырезали, дыры зашили, а номера пришили снова тонкой ниткой, чтобы в нужную минуту легко можно было оторвать. Жора достал лыжный костюм и хранил его в подушке. Он дал мне гражданскую фуражку. У нас была хорошая обувь, по две пары белья, кожаная сумка для продуктов, приготовили также самодельную бритву, имели маленькое зеркало и большой нож.

Побег нужно было совершить до Первого мая, при зимней системе охраны. Перед Первым мая бывали строгие обыски, на праздник усиливали охрану лагеря.

В нашем лагере, как и в других лагерях, часто показывали кино. Мы считали, что во время демонстрации фильма надо делать замыкание и бежать. Подключив киноаппарат, я должен был незаметно выйти из кинозала.

Кино было объявлено на двадцать первое апреля. Мы избрали этот день для побега.

Последние дни я ходил по лагерю, как под гипнозом.

Мною овладевал страх, и я уже несколько раз готов был отказаться от побега, но слово, которое я дал Жоре, надо было держать во что бы то ни стало. Я должен был своей рукой погрузить всю окрестность во мрак. Проектора, тысячи ламп по 300 ватт — все это должно было погаснуть в одно мгновение.

Двадцатого апреля мы узнали, что кино, объявленное на следующий день, отменено. Как быть?

— Завтра идем, во что бы то ни стало! — настаивал Жора.

Я согласился.

— Хорошее число — двадцать первое. Очко, — заметил Жора.

«Что же нам приснится в эту последнюю ночь?» — спрашивал я себя. Ночью я спал плохо. Мне ничего не приснилось. Утром зашел к Жоре. Он сидел, опустив голову.

— В чем дело? — спросил я. — Иль раздумал?

— Сон мне плохой приснился, — отвечал он подавленным голосом. — Лед ломался, мы оба тонули, но когда я оказался подо льдом, тебя со мною не было... Ну ладно, — сказал Жора после некоторого молчания, — сегодня совершим побег. Готовь свою «машину».

Днем мы вытащили гвозди, которыми крепилась решетка в окне каптерки. (Решетки были на всех окнах бараков, и двери после отбоя запирались.) После обеда я сбил из приготовленных брусков лестницу и заложил ее чемоданами. Жора наполнял сумку продуктами, очистив для этого чемодан заключенного. Резать заграж-

дение я взялся сам. Кусачки — мой основной инструмент. Я мог работать ими с закрытыми глазами.

Вечером я подошел к повару:

- Слушай, друг, дай мне поработать сегодня на кухне.
- Что с тобой? — спросил он. — Голодный?
- Знаешь, скука меня угнетает. Делать нечего.
- Хорошо, приходи на диетную кухню.

Заведующий кухней угостил меня сытным ужином. С вечера я заготовил дров. Когда нес охапку дров на кухню, из-за угла вышли двое надзирателей:

- Ты почему ходишь после отбоя?
- Вы что, не видите? — ответил я смело. — На кухню дрова несу. Это последние.

Надзиратели переглянулись и пошли дальше. Обычно, встретив заключенного в зоне после отбоя, надзиратели его обыскивали. В моем кармане были кусачки. «Слава Тебе, Господи, — взмолился я про себя, — не обыскали».

На кухне я сказал, что мне нездоровится. Повара смеялись:

- Объелся, парень... Иди в барак.

Я пришел в каптерку, к Жоре.

- Ну, друг, готов? Первый обход надзирателей закончился. Торопись.

В это время меня охватила такая дрожь, что я не мог сказать ни слова. Я действовал без слов.

Бледный, как полотно, Жора стал на колени, начал неистово креститься, отбивая поклоны.

- Господи, пронеси нас... — шептали его сухие губы.

Я стоял рядом, смотрел на него и думал: «Грабитель, рецидивист, убийца, а когда туго — как он усердно молится! Надо и мне молиться».

— Господи, я недостойный, я — грешник, но ради любви Твоей и молитв моего отца помоги мне в побеге.

Жора встал, вытер рукавом глаза и сказал глухо, раздельно:

— Иди, смотри... Если нет надзирателей, подходи к окну. Я дам тебе лестницу.

Я вышел, взял лестницу, поставил ее около барака и включил рубильник. На трансформаторе ослепительно сверкнула молния. В одно мгновение весь лагерь и все вокруг погрузилось в сплошной, непроницаемый мрак. Хотя я и не смотрел на трансформатор, но вспышка так меня ослепила, что бежать к лестнице пришлось наугад.

Заграждение я резал, как орехи щелкал — быстро и уверенно. Колючая проволока, натянутая как струна, при всей моей осторожности издавала сильный звук. Я пролез через заграждение, приставил к забору лестницу, перерезал на заборе проволоку, стал на перекладину с другой стороны, а Жоры все еще не было. Наконец лестница закачалась. Жора подал мне сумку с продуктами. Я перебрал ее на другую сторону, подал ему руку, захватил лестницу с собой, чтобы при первой ракете ее не заметили на заборе. Метрах в десяти от забора было еще одно заграждение, но проволока там была редкая, и мы кусачками не пользовались. Под заграждением Жора спросил дрожащим голосом:

— Сумка у тебя?
— Нет.
— Вернись и возьми!
— Сейчас запустят ракету! Некогда. Бежим!
— Мы же сдохнем с голоду без сумки, — шептал Жора.

Но я уже бежал, спотыкаясь. Жора не отставал. На ходу я бросил лестницу, фуражку с лагерным номером, оторвал номер на груди (на спине был уже оторван), надел гражданскую фуражку. Наши ноги вязли в оттаявшей земле. Мы падали, но продолжали бежать, взявшись за руки. Справа светилось зарево Омска, слева отмечались три острова света. Там были другие отделения Камышлага. Бежали долго, не оглядываясь. Когда же изнемогли, перешли на скорый шаг и оглянулись. Наш лагерь был все еще виден. Я достал пакетик с хлоркой и стал посыпать следы.

— Все хорошо, — проговорил Жора, едва дыша, — да вот сумки с «сидором» нету. Как же нам быть?
— Да вот так и будем, как Бог укажет.

Чтобы запутать следы, мы несколько раз меняли направление. Как только вышли на дорогу, навстречу нам показался автомобиль с сильными фарами. Мы бросились в сторону, залегли. Когда машина прошла, пошли напрямик, по целине.

Нам не верилось, что мы уже свободные люди, что наше освобождение свершилось в несколько минут. На сердце у меня отлегло, я повеселел, начал разговаривать. Жоре это не нравилось.

— Да замолчи же ты наконец! Сейчас могут «собачники» появиться.

— Что ты, Жора? — утешал я друга. — Собака, как только вдохнет хлорки, завизжит от боли в носу и дальше не пойдет. И, кроме того, мы же сменили направление: сначала мы шли на Омск, а как только посыпали следы хлоркой, пошли в обратном направлении. У нас гарантия. Веселись, Жора! Свобода! Свобода! Хороша ты, свобода!

Словно ребенок, я подпрыгивал, размахивал руками, шутил, а Жора холодно смотрел на меня и думал об оставленной у проволочки сумке.

— Подожди, через два дня «запоешь» волком. Знаешь, как волки поют?

Я Жору не слушал. Мне припомнилась песенка из спектакля «Молодая гвардия», и я, немного ее переиначив, потихоньку напевал:

Бежит дорожка, бежит да вьется,
Трава густая стоит стеной.
Как сердце бьется, как сердце бьется,
Идут два друга, идут домой.

Я даже пробовал сочинять песенки сам и тут же их напевал себе под нос:

Зачем грустить, зачем страдать?
Хочу быть вольным и песни напевать.

— Ох, Миша, Миша, ты не знаешь, что нас ожидает впереди, — вздыхал Жора.

— Ты же молился Богу, — укорял я друга. — Значит, Он и будет нас вести.

— Это, конечно, так. Но надо же думать, как достать хлеба.

— Думай теперь ты. Я всю зиму думал: делал рубильник, точил ножи...

Огни лагерей давно уже скрылись за горизонтом. Мы шли ускоренным шагом. Разгоралась утренняя заря. Подул прохладный ветерок. Он принес запах весны, порадовал нас. Уже светало, когда на нашем пути появилась первая реденькая березовая роща.

— Здесь будем ждать следующей ночи, — сказал Жора.

Сырая холодная земля принимала нас неприветливо. Я сел на ветки, а Жора согнул куст и сел на него.

— Теперь, Миша, будем сидеть вот на таких «стульях», — начал шутить Жора. Он размышлял вслух: — Что же теперь делается в лагере? Начальство на ногах. Военская часть тоже. Нашего брата считают, пересчитывают, проверяют по формулярам. Пущены по следу лучшие собаки.

— Но они дойдут только до хлорки, — заметил я.

— Кто его знает? Может, оно будет иначе. Вольнонаемного электрика таскают на допросы. Загремели телеграммы в Москву. Ищут виновного и найдут козла отпущения. Дадут ему остаток нашего срока. Таков ведь закон.

День был пасмурный. Дул холодный, пронизывающий ветер. В полдень Жора умудрился прилечь и уснуть. Я наблюдал за окрестностью. Жора приподнялся и, дико озираясь вокруг, проговорил:

— Ох, Миша, наверное, мы попадемся...

— Ты что, с ума сошел? Сон приснился?

— Тьфу, ты! Я думал, что мы все еще в бараче.

В свою очередь, я тоже прилег отдохнуть. Спал так крепко, что Жоре пришлось долго меня будить.

Вечерело. Наступал заморозок. Как только сгустились сумерки, мы тронулись в путь. К вечеру изрядно проголодались, и Жора твердил одно:

— Ослабеть в дороге — гиблое дело. Надо что-то делать.

Мы стали держаться ближе к дороге. Наконец послышался лай собак.

— Село рядом, — заметил Жора. — Тут надо подкрепиться.

В лесистой местности притаилась деревушка. Когда подошли к первому дому, неистово залаяли собаки.

— Бежать от собак нельзя. Искусают, — наставлял меня Жора и тихо посвистывал.

Мы свернули в переулок. Лай собак раздавался по всей деревушке. Час был поздний, и только в нескольких избах светились окна.

— Уходить из деревни голодными нельзя, — твердо решил Жора.

Мы свернули к огородам, потом вышли на другой конец деревни. Там в последней избе горел огонек. Мы за-

глянули в окно. На столе стоял ужин, а муж и жена увлеклись чтением книги.

— Заходи, Миша, бери, что попадет под руку, и обязательно заплати. Ежели он оперативник с оружием, ты его уговаривай по-хорошему, чтобы выиграть время, а я с сеной подожду дом. Тогда ему будет не до тебя. Как только он прыгнет в окно, я его в два счета пришибу.

Я зашел в сени, нащупал скобу и смело открыл дверь:

— Здравствуйте, люди добрые!

Хозяева испуганно на меня посмотрели и ничего не ответили.

— Я зашел к вам, чтобы купить еды.

На лицах хозяев застыл испуг. Я подошел к столу, взял газету «Правда» и выложил в нее картофель. На столе была начатая буханка хлеба. Я отрезал ломоть хозяевам, остальное взял.

— Картошки вы себе наварите, хлеба купите. Вот вам деньги, — сказал я и положил на стол десятирублевую ассигнацию.

Хозяин робко спросил:

— Откуда же вы?

— С МТС, — ответил я, закрывая за собой дверь.

Мы выбежали за деревню, присели под деревом и хорошо подкрепились.

— Ну, Миша, — сказал, вставая, Жора, — первый экзамен ты выдержал на «отлично». Через год из тебя выйдет хороший бродяга.

«БЕЖАЛ БРОДЯГА ИЗ СИБИРИ»

Сырой пасмурный день таял на наших глазах. Навдвигалась густая темнота. Мы шли проселочными дорогами, но всегда, в случае опасности, были готовы свернуть в сторону, в кусты, в овраг или просто прилечь на поле. Только перед рассветом на горизонте появлялся серп луны. Она поднималась все выше и выше, бросая бледный свет. На душе становилось веселее. Для поднятия настроения мы иногда затягивали песню. Пели, конечно, вполголоса:

Бежал бродяга из Сибири
Звериной узкою тропой.

— Как нужна ночному путнику луна, — заметил я однажды Жоре, указывая на луну. — Смотри, как светит этот кусочек луны!

— Нет, друг, луна не всегда для нас хороша. Иногда приходится искать место потемнее. Подожди, узнаешь.

Заморозки сковали весенние лужи льдом. Чтобы напиться воды, надо было пробивать лед.

Утром мы остановились в небольшой, голой роще. Нас скрывала высокая, сухая трава. Как только взошло солнце, мы пригрелись и оба крепко уснули.

Проснувшись, я начал молиться. Однако меня смущило то, что в моем кармане был остро отточенный нож.

И потому молитву я закончил словами: «Господи, сохрани меня от кровопролития».

Следующую ночь мы шли почти без отдыха. Мы изрядно проголодались, но пищи нигде не достали. Наступило похолодание, солнце скрывалось за низкими тучами. На холоде заснуть нам не удалось, и мы тронулись снова в путь.

Сумерки опустились на землю быстро, и когда мы заметили деревню, было уже темно. Ни в одной избе нам не открыли.

— Откройте, мы из сельсовета, — подавал Жора голос, но в ответ люди сразу же гасили огни.

Мы подошли к пятой избе. В стороне раздался топот коня. Жора, как заяц, прыгнул через плетень в огород, я за ним. В щель нам было видно, как по улице проскакал верховой с карабином в руке.

— Вот тебе и ночное светило, — прошептал Жора. — Если бы не темнота, нас бы накрыли.

Мы поспешили оставить село. Шли по бездорожью, напрямик, рассчитывая к утру добраться до сибирской магистрали. Нас мучил голод, томила усталость, клонило в сон. От ветра губы и руки покрылись кровавыми трещинами. Мы искали укрытия, чтобы отдохнуть. Перед рассветом показались холмы, а за ними темнела глубокая, как бездна, полоса.

— Река! — заметил Жора. — В весенний паводок нам ее не перейти!

Мы осторожно подошли ближе. Раздавался плеск воды, глухой треск льда.

— Что делать? Куда пойдём? — спросил я у Жоры.

— Перед стихией надо отступать, — тихо проговорил мой спутник. — Наша свобода досталась нам очень дорого. Не будем рисковать жизнью.

Я разыскал камень, бросил его на другую сторону. Камень не долетел и глухо булькнул в воду.

— Далеко. Метров семьдесят, не меньше, — решил я.

— Пойдем на север, — сказал Жора и первым зашагал по пустырю.

Не знаю, почему я бросил в реку еще несколько камней. Один за другим они падали далеко в воду. Долго мы шли молча, не зная куда. Рассвет наступал быстро, прояснялся горизонт.

— Если набредем на село, надо забраться в сарай, приглушить корову или телку и напиться крови. Кровь пополнит наши силы, — раздумывая над создавшимся положением, заключил Жора.

Вскоре мы заметили деревушку. Дождавшись темноты, тронулись в путь с надеждой залезть в сарай, если люди не будут открывать.

На наш стук нам никто не отвечал. В конце деревни, на откосе, мы заметили маленькую избушку. Единственное окно светилось.

— Не стучи, — приказал Жора. — Будем ждать, пока кто-либо выйдет из хаты.

Ждать долго не пришлось. Скрипнула дверь. Через двор прошла женщина с ведром. Мы зашли в избу, как только женщина возвратилась.

— Здравствуйте, — начал я.

Жора сразу же закрыл занавески.

— Я что-то вас, ребята, не узнаю, — смело вступила в разговор женщина лет сорока.

Она оглядывала нас с ног до головы с нескрываемым любопытством.

— Не бойтесь, мы люди свои.

— Да я не из пугливых. Думала, что вы из нашего села, а вы, значит...

Женщина не договорила, будто она все уже о нас знала, и сразу же изменила тон:

— Садитесь, ребята, за стол. Сегодня Пасха. Меня не бойтесь. Я сама бывшая заключенная, недавно срок отбыла. Я ведь воронежская, да вот осталась в Сибири.

Женщина сразу же перешла на лагерный жаргон и начала накрывать на стол. Появились крашеные яйца, булки, молоко.

— Ешьте, ребята, не стесняйтесь.

Жора заметно торопился. Садиться за стол ему не хотелось.

— Мы очень голодные и сразу много есть нельзя. Мы возьмем с собой что-нибудь, а вам заплатим.

Женщина поняла наши опасения и поспешила поставить на стол все, что у нее было. Жора укладывал пищу в карманы и спрашивал:

— Оперативники в селе есть?

— Четыре лягаша живут, но о беглецах слуху не было.

— Где можно переправиться через реку? — спросил я.

— Переправляются на лодке в одном селе. Верст двенадцать отсюда будет. А мост далеко. Считай, верст

тридцать в ту сторону. Да вы не трусьте. Оставайтесь ночевать, отдохните, обмойтесь. И мне веселей будет.

— Нет, нам надо спешить, — отвечали мы в один голос. — Вот, возьмите деньги за хлеб и до свидания, до рога.

Через два часа мы были на переправе. Никого там не обнаружив, мы забрались в копну соломы и там провели весь день.

— Слушай, Миша, — шептал мне Жора из норы, — вернемся к этой женщине, узнаем, как добратся до моста. Другого выхода нет.

— На мосту будет охрана, — утверждал я. — Выход такой: давай уведем в лес корову и там проживем недельку, пока сойдет лед.

— А ты не хочешь завести с этой бабенкой любовь?

— Нет, Жора, я на это не гожусь. Не умею.

Вечером мы были возле избы нашей знакомой. Настойчиво стучали, но она нам не открыла.

Нам ничего не оставалось, как идти на юго-восток, искать мост. Запас нашего провианта подходил к концу. Экономить мы не умели, да и нечего было экономить. В первом же селе решили зайти в дом.

— Ты иди, а я буду у дверей, — распорядился Жора.

Я робко открыл дверь лучшего в селе дома:

— Здравствуйте.

— Здоров, здоров, — ответил басом мужчина с кровати. — Садись, рассказывай, как жизнь.

— Я зашел к вам на минутку. Нельзя ли у вас купить хлеба?

Его жена, хлопотавшая у печки, видно, сразу поняла, в чем дело. Она отрезала ломоть хлеба и подала мне, как нищему.

— Спасибо, но этого мало. Мне надо больше. Я заплачу.

Женщина молчаливо подала мне буханку хлеба, завернула в бумагу несколько яиц. Ее муж подозрительно наблюдал за мной, не проронив больше ни слова.

— Возьмите пятерку, — сказал я женщине, подавая деньги.

— Нет, это мы даем во имя Христа, — ответила она бодрым голосом. — Идите с Богом.

Жора встретил меня с сияющим лицом:

— Просить ты, оказывается, мастер.

— Видишь, — сказал я, — здесь живут христиане.

Они даже не спросили, откуда я иду.

— Умные люди никогда не спрашивают об этом, — пояснил Жора, уплетая за обе щеки булку с яйцами. — Эти булки нам не выгодны. Мы их сразу съедаем. Ты проси черствого, ржаного хлеба. Такой продержится.

Уже на рассвете мы зашли в большое село. Люди еще спали, спросить о переправе было некого, и мы скрылись в ближайших оврагах.

Холодный ветер гнал низкие тучи, ожидался дождь. С большим риском мы разожгли костер и немного обогрелись. Показалось стадо овец. Мы вышли навстречу пастуху.

— Слушай, отец, — обратился Жора к старику первым, — иди к костру, обогрейся.

— А вы откуда, ребята? — спросил он дребезжащим голосом.

— Трактор наш поломался. Ждем из МТС механика.

— То-то я сразу догадался, что вы трактористы.

На горизонте виднелось несколько тракторов. Я был поражен умением Жоры разговаривать с людьми, находить ответы, выпытывать нужные сведения.

Пастух указал на мост, добавив:

— Хороший мост построили. Этот вода не снесет.

— Ну до свидания, отец, — сказал Жора. — Там, кажись, механик приехал.

— До свидания. Пашите поглубже, богаче урожай будет.

— Обязательно!

До наступления темноты мы сидели в кустах. Начал моросить дождь, тьма сгущалась. Мост мы нашли без затруднений.

— Надо идти, — сказал Жора. — Приготовь нож и держись за мной.

Каждые пять-десять метров мы нагибались, всматривались в темень, прислушивались. Под мостом шумела вода, вздрагивали сваи, но охраны не было. Мы перешли мост без затруднений. Приметили зарево города. Вскоре ветер донес до нас гудки паровозов.

— Станция! Пойдем на «железку», — решил Жора.

Утром мы были около Сибирской магистрали. Снова, как разведчики, мы спрятались в кустах, ожидая ночи. Под вечер мы заметили путевого обходчика, вышли ему навстречу.

— Откуда? — спросил он подозрительно.

— С целины, товарищ, — снова начал Жора первым. — Не жизнь там, а каторга. Вот мы и решили мотать домой. Даже на билет не заработали.

— Куда же вам надо?

— В Воронежскую область.

Обходчик, видно, нам верил. Он слушал внимательно, предложил закурить. Потом присел на шпалы, начал рассказывать, как можно проехать без билета:

— Садитесь в «углярку», либо в дровяной. Другие товарняки конвоируют. Скоро будут идти два поезда. На разъезде, под обгон, станет товарняк. Ну вы того, садитесь.

Обходчик был прав. На разъезде мы нашли товарный поезд. Как только он тронулся, мы вскочили в «углярку», открыли уголь, залегли. Поезд шел быстро, не останавливаясь на малых станциях. По зареву можно было определить, что мы приближаемся к Омску. Большими хлопьями начал падать снег, прикрывая и нас, и уголь одним белым пологом. Это как раз нам было кстати. Поезд остановился в Омске на товарной станции. Мы считали минуты и секунды, дрожали от холода и страха, боялись шевельнуться. И как мы были рады, когда без рывка поезд тронулся и начал набирать скорость.

— Слава Тебе, Господи! — прошептали мы одновременно. Омск был самым опасным для нас местом.

Проходили минуты и часы. Поезд прошел по мосту через Иртыш. Начинало светать.

— Надо слезать. Мы тут околеем, — сказал Жора. Перед небольшой станцией мы на ходу соскочили с поезда.

— Ты, Жора, как настоящий кочегар, — шутил я.

— А ты чище? Как шахтер...

Мы зашли в старенький домишко, чтобы обмыться и обогреться. Хозяйка дала нам таз, воду и неотступно наседала с вопросами:

— Откуда?

— С паровоза.

— Мой муж тоже работает на паровозе. А чего же вы не зашли в «ожидалку»?

— Да там ремонт, — изворачивался Жора, фыркая водой.

— А где ваш дом?

— В Омске, мамаша.

Нам пришлось спешить, чтобы скорее оставить эту любопытную женщину и уйти в поле, дальше от станции. Нам повезло. Мы зашли в полуразвалившийся овин и там разожгли костер, обогрелись. Вечером нам удалось сесть на товарный поезд, в открытый полувагон с лесоматериалом. Свистел холодный ветер. Мы лазили между бревен, но затишья не находили. Под утро поезд повернул строго на юг, и мы на ходу соскочили.

С нетерпением мы ожидали восхода солнца, чтобы немного согреться. Днем зашли в рабочий поселок и в первом же магазине купили три буханки свежего, еще теплого хлеба.

— Живем, Миша, не горюй! — ободрял меня Жора. — Когда есть хлеб, жить можно.

— Где будем спать?

— В «заячьей гостинице».

Подкрепились пшеничным хлебом, попили из лужицы воды, хорошо выспались за поселком, а вечером снова вскочили на товарный поезд. Он вез нас день и ночь. Над одной из станций мелькнула надпись: «Курган». Пришлось на тихом ходу соскочить, чтобы размять ноги и снова купить хлеба. Аппетит у нас разыгрался, и я предложил:

— Жора, давай купим немного жира.

— Жира? Ты с ума сошел? Сало стоит тридцать рублей кило. Это тридцать килограммов хлеба. Деньги надо растянуть до Гомеля.

Мы шли по дороге, размытой дождями. Моросил дождь. Было около полуночи, когда мы подошли к станции. Привокзальный магазин был все еще открыт.

— Заходи, бери две булки, — сказал Жора.

Я уже подошел к двери, как заметил внутри милиционера и повернул назад.

Молча мы шли по грязным улицам Кургана, думали о хлебе.

— Пойдем на станцию, — решил мой спутник.

— Милиции в руки? Сегодня ведь Первое мая. На праздники наблюдение усиливается. Везде охрана.

Пошли пешком в направлении Челябинска. Ночь тянулась медленно, дождь то утихал, то снова усиливался. Жора молчал, и только когда дождь утих, он сказал:

— Обмоем ботинки, подсохнем и пойдем в село. Не умирать же с голоду?

За бугром неожиданно оказался разъезд — и стоящий поезд. Мы вскочили на тормозную площадку нефтяной цистерны и перед рассветом были в Челябинске. Эшелон затормозил на первом пути. Эшелоны то приходили, то уходили, а наш все стоял на месте.

— Давай пересядем на другой, — предложил я другу. — Иначе нас могут накрыть.

Мы подлезли под первый эшелон, направились к другим вагонам.

— Эй, вы, куда? Стой! — грозно окрикнул часовой.

Мы бросились в сторону, но перед нами выросла фигура другого охранника.

— Стой! Куда?

Пришлось прыгать из вагона в вагон, пересечь несколько платформ. Укрытие нашли в полувагоне с лесом. Поезд вскоре тронулся. Мы сидели в щелях между бревнами, как загнанные зайцы, и радовались удаче. Поезд набирал скорость.

— Удачно нам «подали» этот поезд! Смотри, чешет на запад! — радовался Жора.

Вскоре показались Уральские горы. На вершинах гор белел снег.

Весь день нас томила жажда. Первый раз по настоящему я узнал, что значит капля воды. Язык прилипал, и я не мог говорить. То же самое переживал и Жора. После полудня он еле выдал слова:

— Неопытные мы. Надо всегда иметь с собой флягу или бутылку воды. А мы...

— Будем умнее, — ответил я и надолго замолчал.

Наступила прохладная ночь. Жажда немного улеглась, но сон не приходил. Я лежал на платформе и смотрел на движущиеся вершины гор, на звездное уральское небо. Поезд шел всю ночь без остановок, и я думал об одном: скорее бы добраться до Гомеля, уйти в леса, прожить спокойно лето, а там что Бог даст...



Поезд летел на всех парах, не замедляя ход. Только к полудню мы заметили приближение большого города и, как только поезд начал притормаживать, соскочили.

Мы были перед Уфой. Воду пили каждые 10 минут. В пригороде купили хлеба и пошли по шпалам до первого полустанка. Перед полустанком свернули с дороги, расположились в кустах, хорошо закусили и отдохнули, а как только зашло солнце, мы подошли ближе к полотну до-

роги. Нам удалось вскочить в вагон с трубами, и когда мы забрались в трубы, Жора сразу определил:

— Это самый безопасный способ передвижения. Проедем станцию — вылезем, а будет опасность, нырнем в трубы, как хорьки. И концы в воду.

Вскоре перед нами раскрылись просторы Башкирии, богатые луга, стада, табуны лошадей. Стояла теплая весенняя погода. С полей ветер приносил запах свежести. Чувствовалось приближение Волги-матушки.

Прошла еще одна ночь. Поезд шел в том же направлении, и это нас радовало. Огорчало только одно — опять не было воды. Ночью на небольшой станции остановился поезд. Мы вылезли из труб.

— Давай напьемся из тендера, — предложил Жора.

— С каустической содой?

— Не умрем, не бойся.

Нас заметил машинист, когда мы открыли кран тендера.

— Ребята, вы что? С похмелья?

— Да вчера немного хватили. Сушит...

— Возьмите чайник, пейте.

Мы пили воду с нескрываемой жаждой и машинисту возвратили пустую посуду.

— Ничего себе, — сказал удивленно машинист, — три литра оглушили. Ну, залезайте в трубы, — добавил он. — Сейчас тронем.

Машинист, видно, догадывался, что мы не кто иные, как «зайцы». Не одни мы колесили по большим дорогам России без билетов.

Поезд тронулся, и мы снова залезли в трубы. Спали

поочередно, чтобы не терять наблюдения за дорогой. Мы вспоминали случай, когда из Темниковского лагеря одному смельчаку удалось бежать. Он ехал в трубах по железной дороге, но уснул, а поезд привез его в рабочую зону другого большого лагеря. Из одной беды он попал в другую.

Мы проехали Куйбышев, огромный мост через Волгу, и теперь поезд нес нас все ближе и ближе к Пензе. Голод заставил нас выбраться из труб и на тихом ходу соскочить с поезда. Теперь мы шли днем, радовались теплу и солнцу, составляли планы на будущее. Однажды Жора сказал:

— Деньги наши выходят. Надо кого-то ограбить.

От такого решения у меня екнуло сердце. Это было мне не по душе, но чтобы не портить отношений с другом, я ничего ему не сказал.

— В случае беды, тут рядом лес. Укроемся.

Навстречу шла хорошо одетая девушка с сумочкой в руке.

— Ну, давай, — начал Жора. — Я подойду к ней, спрошу, который час, а ты смело подходи, забирай сумку, часы, снимай ботинки. Босая дойдет.

Я шел за девушкой, как на казнь. Жора подошел к девушке, спросил время. Она застенчиво улыбнулась.

— Без двадцати семь, — прозвучал ее нежный голос.

— Спасибо, — ответил Жора и моргнул мне.

Я нерешительно шагал за девушкой, то нагонял ее, то отставал и думал: «Какой позор! Ограбить беззащитную девушку. Если бы на ней были погоны, я бы раздел ее до последней рубашки, а то ведь, наверное, студентка и на сестру мою похожа».

— Нет, не могу, — сказал я Жоре решительно.

— Как ты думаешь жить? Подожди, дружок, подожди. Поголодаешь недельку, волком завоешь. Тогда ты сам пойдешь на дорогу.

— Я верю, что Бог этого не допустит.

— Посмотрим! — пробурчал Жора.

Уже было темно, когда мы вышли к полустанку. Через полчаса подошел товарный поезд. Мы выбрали вагон с широкими трубами, спокойно залезли и, в ожидании отправления, задремали.

Вдруг Жора подскочил, как ужаленный. Тронулся поезд.

— Соскакивай скорее! — бросил он на ходу.

— В чем дело? — спрашиваю.

— В обратную сторону пошел поезд!

— Кто тебе сказал? Смотри, пошел на запад...

Поезд быстро набирал ход, и пока я убедил Жору, что спросонок он ошибся, перед нами молчаливо мелькнул фонарь последнего вагона. Мы упустили хороший слу- чай.

— Это тебя за девушку Бог наказывает! — заметил я.

— А тебя за что? Еще упрекаешь! — вспыхнул Жора.

Он начал ругать меня нецензурными словами. Мы отошли в сторону, легли на сухой паровозный шлак, и я впервые подумал, что мне будет очень трудно усваивать уроки Жоры. Он лежал молча, что-то обдумывал, и как только на полустанке остановился пассажирский поезд, встал и резко сказал:

— Ну, если не хочешь расставаться, пойдём!

— Куда?

— Поедем этим поездом до станции. Там больше товарных вагонов.

— Как — поедём?!

— Я тебя научу.

Мы залезли под вагон, пристроились между осей на поперечине. Из уборной полилась вода. От вони стало тяжело дышать.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — прошептал Жора, и по его тону я понял, что он уже на меня не сердится. Но я не мог терпеть вони и вылез из-под вагона. За мной вылез Жора.

— Ты что икру мечешь? Забудь, что у нас было.

— Да нет же, я не могу. Вонь нестерпимая. Меня всего обрызгало.

Когда поезд тронулся, мы вскочили на платформу и до станции ехали на буферах. Таким способом передвижения пользовались многие. Мы заметили молодого парня. Он клал две доски на перекладины под вагоном и на них ехал. На больших остановках он забирал доски и уходил от поезда. Я сказал Жоре:

— Смотри, какой деловой парень. Совсем акклиматизировался. Мы имеем по две пары белья, телогрейки и замерзаем, а он, как будто нуждается в прохладе — воротник расстегнул.

На другой день перед небольшой станцией поезд замедлил ход. Неожиданно из первого вагона выскочил оперативник в хромовых сапогах. Он быстро шел вдоль

поезда и деловито заглядывал под вагоны. Мы отошли назад, и с нами незнакомый парень. Он оставил доски под вагоном, вобрал голову в плечи, руки заложил в карманы и, приблизившись к Жоре, сказал:

— Не дрейфь! Пусть качает.

Мы стали у вагонов. Оперативник направился к нам, но как только сквозь сумерки обнаружил нас троих, круто повернул назад.

— Видно, ученый, — торжествующе заметил незнакомый парень.

— Еще бы! Один против трех. Куда ему! — добавил Жора.

Утром следующего дня прибыли на станцию Ряжск. Смазчик вагонов, человек бывалый и много переживший, дал нам практические советы, как попасть на поезд «Ряжск — Калуга». Ехали под вагонами.

Было около полудня, когда поезд начал сбавлять ход. Мы соскочили с поезда, зашли в рабочий поселок, украшенный зеленью и молодыми деревьями. Ласково пригревало солнце, но настроение нам портило голод. Жора заметил возле станции ларек, и у него сразу родилась идея:

— Иди, Миша, купи хлеба на последние гроши, а я тебя здесь, на огородах, подожду. Съедем это, а потом будем промышлять.

Я согласился, приготовил последнюю пятерку и вышел к ларьку через огороды. Возле ларька я заметил капитана милиции. Он повернул голову в мою сторону и выжидающе наблюдал за мною. Повернуть назад озна-

чало бы сразу же себя выдать. Я шел прямо на него. Он отошел от двери, но как только я купил хлеба, он протянул руку и схватил меня за воротник:

— Ваши документы?

Я рванулся в сторону, соскочил с платформы и нырнул под вагоны, стоявшие почти рядом с ларьком. На станции спрятаться было невысказано, и я побежал в рабочий поселок. Мне казалось, что оперативник гонится за мною. Но когда оглянулся, сзади никого не было. Я был уверен, что на меня сейчас же будет облава. Я снял телогрейку, хлеб спрятал под руку и быстро пошел по людной улице, потом свернул в тихий переулок. Впереди заметил двух милиционеров. Я забежал в чей-то двор, спрятался в уборной и наблюдал за окрестностью из щели.

Через несколько минут выскочил из уборной и залез за бревна, лежавшие возле сарая. Там ожидал наступления темноты. Тяжелые думы давили мою голову. Искать Жору было бесполезно. Он не мог ожидать меня полдня. Я вылез из-под бревен. Сгустились сумерки. Ничего не оставалось, как идти пешком до следующей станции. Под утро я был на станции, где, на мое счастье, стоял поезд, готовый к отправлению. На ходу я вскочил на платформу. Я радовался, что удаляюсь от ловушки, но и грустил о потерянном друге.

Перед Тулой я соскочил с поезда, отошел от станции в кустарник и, расположившись на траве, крепко уснул. Вечером я снова отправился в путь с надеждой встретить Жору в деревне Н. Бярятинского района. Этот адрес мы получили от одного заключенного и держали его в памяти

на случай непредвиденной разлуки. Теперь разлука стала свершившимся фактом, и другого пути не было, как искать условленную деревню и там ожидать.

В Калугу я пришел ночью. Блуждать по товарной станции — опасное дело, и я сразу же спросил у смазчика:

— Как попасть на станцию Брятинскую?

— Просто. Бери билет и поезжай.

— У меня нет денег, — ответил я.

— Вижу, кто ты такой, вижу. Вашего брата вижу насквозь. Тогда вот что: дуй пешком, это надежней. Тут близко — восемнадцать километров.

Я вышел из города до рассвета и станцию Брятинскую нашел без труда. Это был небольшой разъезд с десятком разбросанных домишек. Я подходил к людям, спрашивал, где село Н., но никто этого села не знал. У кузнеца в мастерской спросил:

— Какой же это район?

— Район Льва Толстого, — ответил мне измазанный копотью человек.

Я понял, что у нас произошла какая-то ошибка. Да и друг по лагерю мог дать неправильный адрес. «Надо ехать в Смоленск, а не в Гомель, как мы планировали с Жорой. Разлука с ним — Божие допущение, не иначе, — решил я. — Если бы я пошел с ним в Гомель, мы должны были бы заняться воровской жизнью, а мне это было не по душе».

Я возвратился в Калугу, ночью сел на товарняк, отходящий в Осиповичи. В Осиповичах пересел на Смоленский поезд. Я стоял на тормозной площадке и думал о

том, к кому я мог бы зайти в Смоленске. Свистел ветер, и я, грязный, небритый (бритва осталась у Жоры) дрожал от холода. По платформе, направляясь ко мне, неторопливо шагал главный кондуктор с сумкой через плечо.

— Куда едешь? — спросил он твердым голосом.

— В Смоленск.

— Откуда?

— Из Осиповичей. Там работаю в МТС.

— Что-то далековато. А ты не знаешь, что товарным поездом ездить нельзя?

— Конечно, знаю. Для фронтовика, орденосца это не страшно, — ответил я, смеясь и по-дружески улыбаясь молодому кондуктору.

— В какой же ты был армии?

— В Третьей танковой. Войну в Праге закончил.

— Вот как! Интересно. Я же тоже был там, — воскликнул кондуктор обрадованно. — Знаешь нашего командира Павла Семеновича Рыбалко?

— Конечно, — говорю я. — Теперь он маршал!

Мы вспомнили, как нас встречали чехи, как грабили немецкие склады и пивные погреба. Кондуктор пригласил меня на паровоз, представил машинисту как сослуживца, и я благополучно добрался до Смоленска.

Полноводный Днепр встретил меня ласково. В его волнах золотилось солнце, но идти через мост я боялся. На другую сторону пришлось переезжать на лодке. Я зашел к знакомой женщине, где меня не могли ожидать кэгебисты. Женщина, узнав меня, ахнула:

— Миша, ты ли это? Что с тобою? Где ты пропадал столько лет?

— Спаси меня, — сказал я. — Иначе мне не жить.

Мне пришлось рассказать ей о моих мытарствах. Женщина сделала для меня все, что могла: дала белье, бритву, двести рублей, телогрейку. В первую же ночь я пешком ушел на Красный Бор.

В лесу было тихо, свежо. Ничто не мешало мне думать и молиться: «Господи, дай мне мудрость принять правильное решение. Куда идти? Что делать?»

Проходили часы, решение не приходило, и я, сидя под деревом, уснул. Проснулся, когда косые лучи скользили между листьев, на склоне дня усердно перекликались птицы. «Поеду на запад, в большие леса, и буду там жить до зимы как Бог даст», — решил я.

Я вышел к разъезду, и товарный поезд увез меня на запад. Минск был уже позади. Присмотрев из вагона подходящее лесистое место, я соскочил с поезда. В моей сумке был хлеб, фляга с водой, соль, бритва и хороший нож.

В глуши, на пригорке, я жил несколько дней, обдумывая свою жизнь. Каждый вечер и каждое утро, как только запоют птицы, я становился на колени и долго изливал Богу свои чувства, свою горечь. Иногда ночью, просыпаясь от холода, я опять становился на колени и благодарил Бога за свободу, за путь, который Он охранял. В мою душу вселялась вера, что Бог даст мне незримого ангела, и он проведет меня к границе и укажет путь, где можно пройти и выйти в иные края.

ПЛАН СОЗРЕЛ

*Л*ес встретил меня по-дружески — приветливо и ласково. Весь день я бродил без усталости по лесным дорожкам, радовался каждому дереву, несколько раз молился, и мне казалось, что если бы у меня были продукты и хорошая одежда, — лучшей жизни я бы не желал. Короткие ночи проходили быстро. Дни были жаркими и долгими. Вскоре я обнаружил большое неудобство: нигде по близости не было реки. А как было бы хорошо искупаться в теплой июльской воде! Я открыл карту и увидел, что недалеко от Барановичей есть река Шара, а рядом с ней — большие массивы лесов. Решил перебраться туда.

К вечеру следующего дня я вышел к станции, чтобы сесть на товарный поезд, но поезда не дождался. Только утром вскочил на пассажирский «Москва — Брест-Литовск».

Когда поезд тронулся, я заметил женщину, вскочившую на ступеньки вагона по моему методу, зайцем. Она ловко перескочила на буфер и стала оглядываться. Глаза у нее были грустные, потухшие.

— Здравствуйте! — сказал я ей. — Вы здорово прыгаете!

Женщина вздрогнула, но, почуяв во мне своего человека, охотно вступила в разговор.

— Признаться, не первый раз я прыгаю, — сказала она, держась за тросы. — А что делать?! Вот ездил в

Минск, к мужу, возила ему передачу, а на билет тратиться не захотела. Пусть правительство платит.

Я слушал рассказ женщины, часто вздыхал и думал: «Хорошо, что я один. Некому обо мне плакать».

— Вы сочувствуете заключенным? — спросила вдруг женщина.

— Я сам заключенный. Из лагеря сбежал.

— Вот как! — удивилась женщина и еще раз оглядела меня внимательно. — Я вижу, вы какой-то особенный человек. Куда же вы едете?

— Ищу по свету счастья. Не могли бы вы меня пристроить?

Женщина долго думала, что-то прикидывала и потом, понизив голос, сказала:

— Я поговорю со своей сестрой. Она теперь одинокая. Может, согласится вас принять. Возьмите мой адрес и зайдите через недельку. Хорошо?

— Обязательно.

Женщина сошла с поезда и приветливо помахала мне рукой. Поезд стоял две минуты, а когда тронулся, ко мне подошел мужчина лет сорока в простой рабочей одежде, усталый и запыленный. В его зубах торчала сигарета.

— Есть у вас прикурить?

— Я не курящий, но спички имею. Пожалуйста, — предложил я незнакомцу.

Мы разговорились.

— А я вот еду из Коми АССР, — начал незнакомец. — Был на лесоповале.

— Ну как там заработки? — спросил я.

— Заработки хорошие, можно деньгу зашибить, — отвечал он, покашливая, — да вот жена при смерти. Срочно еду домой. А вы откуда? — спросил меня незнакомец.

И мне пришлось снова придумывать свою биографию:

— Был в Сибири на высылке, да не мог там привыкнуть, уехал. Ищу теперь места. Может, у вас есть что-либо на примете?

— Как сказать... Оно, может, и есть, да я ведь давно не был дома, не знаю.

Я взял его адрес. Он жил в семи километрах от реки Шара, на хуторе. Поезд остановился на станции Бытень, и мы оба сошли на платформу.

— До свидания, — сказала я новому знакомому. — Может, зайду.

— Заглядывай!

Почти вплотную к станции подступали леса, и я пошел на запад в поисках укромного места. Через час я был у реки Шара. На другой стороне виднелись заливные луга и кустарники.

Долго я купался, наслаждался теплой, чистой водой, постирал белье, выполоскал комбинезон, повесил сушить. Возле реки я жил несколько дней, питаюсь подаванием. Люди охотно клали на стол хлеб, ставили молоко и, как всегда, начинали расспросы: кто, откуда, куда. Это больше всего меня беспокоило, потому что каждый раз я излагал новые версии и каждый раз убеждался, что мне никто не верит. Это меня очень угнетало.

Однажды я зашел в большое село. Там была парикмахерская. Мне нужно было подстричь волосы. День

был воскресный, базарный, и в село понаехало много людей из других деревень. Когда подошла моя очередь, парикмахер сразу же обратил на меня внимание.

— Кто это тебя стриг наголо? — спросил он меня в упор.

— Знаете, я брею голову, — ответил я, запинаясь.

— Как же вас — брить или стричь?

— Стригите на этот раз, уже осень приближается, — ответил я и посмотрел в хитрые глаза парикмахера.

Он втягивал меня в разговор, пробовал узнать, откуда я и чем занимаюсь. Я отвечал неохотно, да и невпопад, и думал только об одном: скорее бы вырваться из этой западни. Я дал парикмахеру пятерку.

— Посиди минутку, я пойду разменяю деньги, — сказал парикмахер и направился к двери.

Я хорошо знал, что у парикмахера были деньги, чтобы дать мне сдачу.

— Да вот у меня есть рубль, — сказал я.

— Нет, я пойду разменяю пятерку, — настаивал парикмахер. — Одну минутку.

Как только парикмахер прикрыл дверь, я поспешно встал со стула, стукнул недовольно дверью и вышел вслед за ним. Пришлось укрыться в огородах, а потом выйти из села в лес.

«Как быть дальше? Что делать?» — билась в голове вопросы. К вечеру я зашел к человеку, который ехал со мной в поезде. Возле его хатенки, за сараями, паслась корова. Густые кусты орешника прилегали к хате, обнимая ее со всех сторон. Запах сена, навоза и молока напомнил мне наши родные хутора. Мне ничего не хотелось,

как только устроиться на таком хуторе и потихоньку обживатьься на одном месте.

— Ну как? Судьба улыбается? — встретил меня знакомый вопросами.

— Нет, не улыбается, а плачет, — ответил я, пожимая ему руку.

— Хозяйка, готовь обед! Видишь, у нас гость, — сказал он жене.

Мы присели на бревно у калитки.

— А я вот неделю отдыхаю, — начал он.

— Жена-то как? Выздоровела? — спросил я.

— Да она совсем не болела. Пришла тут к ней одна соседка и напугала ее: «Дура ты, дура, — говорит, — отпустила мужа на заработки, а он там с другой, с городской. Останешься одна». Жена, конечно, испугалась и сразу мне телеграмму: «Приезжай, я при смерти». А я, дурак, поверил, бросил там все барахло, инструменты, приехал, а она скачет как кобыла... Вон посмотри на нее. Ох, эти бабы! Никогда не женись.

— Да мне, друг, не до этого. Думаю, где бы голову спрятать.

— Если хочешь, я попробую тебя пристроить в колхоз трактористом.

— А документы? — спросил я.

— Да, это загвоздка. Без документов, пожалуй, не возьмут.

Я поделился с ним своими планами бежать за границу.

— Вот это номер! Я бы сам с тобой махнул, если бы

не жена. Или пан или пропал! Один раз умирать... Риск — благородное дело.

Знакомый угостил меня обедом, дал мне хорошую географическую карту.

— Ночуй у меня на хуторе, — предложил он.

— Нет, пойду в лес, там спокойней.

— Да, это, может, и правильно, — согласился знакомый.

Я ушел в глубь леса, прилег под огромной ветвистой сосной и начал изучать новую карту. Все мои мысли перенеслись за границу. Я просматривал тот путь, которым прошел от Сибири, вспоминал Жору. Неожиданно на карте нашел станцию Барятинскую и Барятинский район. Это как раз то место, где меня мог ожидать Жора. Да это же Калужская область, недалеко от Москальска! А я искал в Тульской! Эх, голова садовая, какую сделал ошибку! Но исправить эту ошибку уже было невозможно. Шагать тысячу верст на восток, искать ветра в поле — большой риск. Я потерял друга. «А может, этот случай Бог допустил для моей пользы?» — мелькнула в моей голове мысль.

Начинало темнеть. Перебрав в памяти все свои переживания, я с особым благодарным чувством склонил колени и начал молиться громко и сердечно: «Господи! Я направляюсь к границе. Что там меня ожидает? Ты один это знаешь. Не оставляй же меня, веди, показывай мне путь».

Всю ночь я спал спокойно. Разбудили меня птицы. Они заливались вокруг меня на разные голоса, а на огромной ели неистово каркала ворона.

— Не каркай, я солдат еще живой, — проговорил я ей громко, нашел подходящий камень и бросил в нее со всего размаху. Камень не долетел, но ворона заметила мое недовольство, лениво взмахнула крыльями и улетела.

У меня в кармане еще было несколько рублей, и я направился в село, купил хлеба, полфунта сахара, свернул в ближайший лес и там ожидал наступления темноты. Вечером я снова склонил колени, помолился и пошел на станцию, чтобы сесть на товарняк и подъехать ближе к границе. На небе среди звезд отливал серебром серп молодого месяца. «Через четыре ночи, когда я подъеду к границе, луна увеличится и будет для меня большой помехой. Мне нужна темнота. До безлунной ночи нужно было ждать три недели», — так размышлял я в пути, приближаясь к станции.

Неподалеку раздался шум поезда. Промелькнули освещенные вагоны. Я быстро побежал к станции. В нескольких шагах от меня тронулся поезд. Вскочить на него я не успел. «Значит, так должно быть. Вопрос решен: мне надо гулять по лесам три недели», — и я снова направился в лес, как в родной дом.

В темноте я чувствовал себя хорошо и свободно. И звери, вероятно, принимали меня за своего, лесного жителя. В ту ночь впереди на дороге замелькали два подозрительных огонька. По их движению я понял, что это волк и уже приготовил нож, чтобы сразиться со зверем. Мне не хотелось сбиться с дороги, и я шел прямо на него. Волк меня заметил, остановился и неохотно свернул в сторону.

Уснул я под глухой, несмолкаемый шум деревьев. Утро в лесу было солнечным и необыкновенно свежим. Меня радовало пение птиц, и я долго лежал на траве, прислушиваясь к ним. Я изучал их жизнь, наблюдал за ними, разговаривал с букашками и так коротал время.

В полдень я снова пошел к реке Шаре и провел там остаток дня. Каждый раз, замечая человека, приходилось вылезать из воды и удаляться в кусты.

Комбинезон я прятал в лесу, а телогрейку носил с собою. Ночью я ею укрывался. Спал на сене или на ветках, но каждое утро их приходилось разбрасывать, чтобы не оставлять после себя следов.

Раз в неделю я заходил в поселок и покупал четыре буханки ржаного хлеба, а потом делил их на семь частей. Долгими летними днями я бродил по лесу в зарослях густой пахучей жимолости, собирал ягоды. Иногда садился под деревом, дремал, мечтал о настоящей свободе.

Листья на деревьях грубели, покрывались коричневыми пятнами, желтели. Потихоньку приближалась осень. Изо дня в день я питался ягодами. Оттого мои губы и зубы были черными.

В одиночестве во мне все чаще и сильнее возникало желание молиться. И я молился, благодарил Бога за каждую ночь, за каждый день, благодарил за воздух, за ключевую воду, которую я часто находил в низких местах, за обилие ягод, орехов, грибов, за пение птиц.

Ночи становились холодными. По утрам в долине реки долго плавали хлопья сизого тумана. Я перешел на

другое место, повыше, сделал себе шалаш, но спал в нем только в непогоду.

Большим для меня несчастьем были надоедливые комары. Они не давали мне спать, забирались под телогрейку, жалили. Приходилось разжигать костер, бросать в него сырые ветки и спать под дымом. Но однажды случилось несчастье. Я уснул вблизи дымящегося костра. Проснулся, когда меня припекло. Вокруг меня полыхала трава, загорелся молодой ельник, и мне стоило больших трудов, чтобы ликвидировать занимавшийся лесной пожар.

И все-таки я пожара не избежал. Недалеко от реки стоял огромный красивый дуб. Его ветви, широко раскинутые над молодым березняком, давали хорошую тень, и я часто в полдень отдыхал под этим деревом-богатырем. В его дупле я прятал свои пищевые припасы. Мне пришла мысль увеличить дупло, сделать его пригодным для укрытия от дождя. В дупле я разжег костер и ушел на другую сторону реки, рассчитывая, что за сутки дупло выгорит до нужных мне размеров. Однако я просчитался. На другой день утром вся окрестность утопала в дыму. Горел не только дуб, но и богатая торфом земля. Погасить огонь было уже невозможно. Я отошел в сторону, забрался на большое дерево и наблюдал за пожаром. Огонь распространялся быстро. С большим треском упал подгоревший дуб. Огромный снап искр взметнулся в небо. Вскоре прибежали люди с лопатами. Они работали весь вечер и всю ночь до утра, преграждая дорогу пожару. А я

бродил по кустам в стороне и ругал себя: «Какой я все-таки дурак! Наделал людям беды».

Дни моей лесной жизни подходили к концу. Нужно было готовиться к походу до границы. На последние деньки решил купить масла. Перед наступлением вечера я зашел в ближайшее село, спросил женщину у колодца:

— Где здесь можно купить масла?

— Масла? — удивительно спросила молодая белоруска. — Не знаю, у кого здесь есть масло. Разве вот в том новом доме, у бригадира.

Возле нового дома стоял велосипед. Это меня смутило, и я хотел было уже вернуться, но пришла другая, ободряющая мысль: «Ну и трус ты, Миша! А может быть, это хозяйский велосипед. Чего там...»

Я зашел в дом. За столом сидели два человека, ужинали, о чем-то пылко разговаривали.

— Добрый вечер, товарищи. Нельзя ли у вас купить масла? — спросил я нерешительно.

Вместо ответа хозяин вышел из-за стола, молчаливо прошел к дверям, крикнул жене:

— Эй, Дарья, тут вот человек хочет купить масла! Есть там у тебя?

Гость искоса посматривал на меня и аппетитно хрустел малосольными огурцами. На нем была серая гимнастерка, хромовые сапоги. Пока хозяйка отвечивала масло, гость начал меня допрашивать:

— Откуда, парень, идешь?

— Из Барановичей.

— Что здесь делаешь?

- Я шофер. Вожу лес.
- Куда?
- На сплав.
- Г-м... На сплав, говоришь?
- Да, на сплав...
- Где же ты в Барановичах живешь? На какой улице?
- Недалеко от станции, — ответил я, робея.
- Имеешь документы?
- Конечно, имею. Что за вопрос?
- Разрешите их проверить?
- А кто вы такой будете? — спросил я, повысив

голос.

Мужчина вышел из-за стола. Он нарочно повернулся ко мне боком, чтобы я увидел висевший на ремне пистолет.

— Я участковый милиционер.

— Вот как! Интересно, — ответил я. — К вам зашел человек с хорошим намерением, а вы мне здесь допрос учиняете. Тогда ведите меня в милицию, — сказал я обиженно и подошел к двери.

Хозяин стоял посреди хаты, прислушиваясь к нашему разговору.

— Что я, преступник, что ли? Допросы тут! — покрикивал я, поспешно оставляя дом.

— Подожди, возьми масло! — кричал милиционер. — Что за человек!

Я незаметно перескочил плетень и скрылся в ближайших огородах. Потом вышел на тропинку, ведущую к лесу. «Надо скорей уходить за границу! — твердил я себе. — Завтра же!»

Я свернул в сторону, к лугам. Там насобирал недозревшей смородины и щавеля. Рядом оказалась полоса зеленого гороха. Я прилег у межи и начал с аппетитом его есть. Ночевал в стогу сена, недалеко от реки. Ночь прошла тревожно. Поблизости непрерывно гудели моторы, полыхали фары автомобилей. Позднее я узнал, что в эту ночь проводились занятия воинской части.

До безлуния оставалось несколько ночей. Я по-прежнему бродил по лугам и зарослям кустарника, загорал на солнце, а на ночь уходил в стога. Однажды вблизи проселочной дороги я заметил хуторок. Зашел в избу. Хозяйка хлопотала у печи и на мое приветствие вздрогнула, испуганно посмотрев мне в лицо.

— Не бойтесь. Я человек мирный. Можно достать у вас молока? — спросил я.

— Во что же ты его возьмешь? — спросила женщина.

— Я выпью у вас в избе.

Женщина налила кружку молока и подала мне ломоть хлеба. Она смотрела на меня, и страх в ее глазах постепенно рассеивался.

— Наверное, голодный? — участливо спросила она.

— Да, очень голодный.

— Откуда же ты?

Я рассказал о своей жизни, ничего не скрывая. А когда рассказывал о женских лагерях, она заплакала:

— Господи, за что люди страдают?

Женщина дала мне на дорогу большой кусок хлеба и, провожая меня, сказала шепотом:

— Ради Бога, не рассказывай о себе никому. Разные

у нас люди. Другой может заявить участковому, и тебя сразу схватят. Куда же ты идешь, человек?

— Иду на границу.

Женщина не сказала ни слова. Она стояла у избы, и когда я помахал ей рукой, поднесла передник к глазам.

Весь день я собирал малину. Неожиданно поблизости раздались голоса. Теперь мне не было нужды прятаться, так как на другой день я собирался оставить эти места и уйти к границе. Теперь мне хотелось кому-то рассказать о себе, о всех своих страданиях, о всех злоключениях. Если меня убьют на границе, все-таки обо мне кто-то будет знать. Но каждый раз, когда я пробовал выйти к собиравшим малину, они шарахались от меня в сторону, прекращали разговоры и вскоре незаметно исчезали, оставив меня одного в густых зарослях малинника. Я ел малину и в душе благодарил Бога за чудные ароматные ягоды.

Солнце клонилось к закату. Я вышел на лесную дорогу. Впереди стоял грузовик с прицепом. Пять молодых девушек грузили бревна, шутили и смеялись.

— Здравствуйте! — сказал я девушкам. — Хотите, я вам помогу? Это ведь тяжелая работа, не женская.

— Ничего, мы привыкшие, сами справимся.

В стороне, у обочины, сидел шофер. Он спокойно курил и лениво поглядывал по сторонам. Я подошел к нему.

— Ну как живем, товарищ? — спросил я его, желая вступить в разговор.

— Ничего, жить теперь можно. А ты, видно, тоже шофер?

— Да, был шофером, а теперь сам не знаю, кто я.

— Откуда же ты?

И я принялся рассказывать шоферу о своей жизни. Он слушал меня с глубоким вниманием. Вначале, казалось, он мне не верил, задавал вопросы, но, убедившись, что я говорю правду, подсел ко мне ближе.

— Ну, готово! Давай, заводи! — подали голоса девушки.

Шофер встал, стряхнул с себя листья и подошел к девушкам. Я слышал его слова:

— Чего спешить? Не на базар. Хотите собрать ягод? Идите на полчаса.

Девушки охотно ушли в глубь леса. Мы остались одни.

— И вот теперь иду я на границу с верою в Бога, — продолжал я свой рассказ.

Шофер присел на бревно, закурил третью сигарету.

— Родители у меня были верующие, евангельские. Меня учили молиться Богу, и вот я живу в лесу и молюсь. Вижу, нет мне другого пути, как бежать из родной земли.

— Да, нелегкое это дело, — протянул шофер, глубоко вздохнув. — Граница теперь на замке. Не то, что было пять лет назад.

— Ну что ж? Если меня убьют — это будет лучше, чем томиться двадцать пять лет в лагерях. А вы расскажите обо мне всем в своей местности. Тут меня многие встречали. Даже участковый.

И я рассказал шоферу, как покупал масло, как подстригался в поселке.

Девушки возвратились из лесу, уселись в прицеп, торопили шофера. А шофер подал мне руку и долго не выпускал мою руку из своей, смотрел мне в глаза и тихо говорил:

— Жалко мне тебя, парень. Когда ты мне рассказывал, я все думал, как бы тебе помочь? Трудное это дело. Видно, ты правильно решил. Попытай счастья. Или пан или пропал. А о тебе я никому не скажу. Мне нельзя, потому что я член партии. Да, да... Не бойся. Я тоже человек. И если попадешь, как ты надеешься, к американцам, скажи им, что не все коммунисты в России безбожники, как там о нас говорят. У меня у самого родители верующие, но жить-то мне надо... Все равно не в наших руках власть. Мы — пешки, а двигают нас те, кто наверху. Да, парень, так вот, значит, и скажи.

Шофер открыл свой кошелек и дал мне пять рублей:

— Возьми, что имею. Может, пригодится. А было бы у меня сто, все бы отдал.

— Спасибо, спасибо, товарищ, — сказал я, направляясь в лес.

— Бог тебе в помощь, — пожелал шофер и неторопливо зашагал к машине.

— Прощайте! Больше я вас никогда не увижу, — сказал я девушкам.

Девушки рассмеялись. Вероятно, они меня не поняли.

ПЕРВАЯ ГРАНИЦА

Вечером того же дня я пришел на станцию Бытень. Через несколько минут подошел пассажирский поезд, и я незаметно пристроился на буферах, между вагонами. Утром я слез на станции Жабинка, пошел на базар, купил на последние деньги десяток яиц и отправился проселочной дорогой на запад.

На ночь я забрался в копну сена. После утомительного большого пути спал до утра беспробудно. Проснувшись, я выбросил географическую карту, оставив себе кусочек пограничного района. До границы оставалось двадцать пять километров.

Как только пригрело солнце, я снова отправился в путь, перешел небольшую речушку, вышел на дорогу Брест-Литовск — Малоритга. Параллельно ей шла железная дорога. До границы оставалось тринадцать километров, и я свернул в кустарник.

Погода переменилась. Небо быстро покрывалось тучами, чернела земля, чернело и у меня на душе от тревожных дум. Начал моросить дождь. Еще засветло я перешел железную дорогу, картофельные поля и вышел напрямик к небольшому, но густому лесу. У входа в лес стояла табличка. Я с трудом ее прочел: «Вход воспрещен! Артиллерийский полигон».

Я свернул с дороги и пошел по лесу. Глухо шумели деревья, навевая грусть. Дождь с каждой минутой усили-

вался, и я промок насквозь. Непроницаемая тьма объяла лес. Я вышел на дорогу. В такой темноте легко столкнуться с пограничным секретом лицом к лицу. Дождь не унимался, размывал мои следы, и когда дорога повернула вправо, я пошел прямо, чтобы не менять направления. Передо мной вскоре показалось болото. Оно было большим и глубоким, и я, пройдя метров сто, повернул назад. Меня одолевала усталость, и я сел под густой елью. Начинало светать. Теперь я видел между деревьями просветы. Невдалеке горланили петухи. Пришлось углубиться в лес, чтобы переждать день.

В лесу было мокро, неуютно и холодно. Случайно я набрел на заброшенную землянку военного времени. Лежать в ней долго не пришлось. Лягушки прыгали мне на лицо, лезли за шиворот. Я выбрался из землянки. Выглянуло солнце, немного подсушило мою одежду, и я, при moistившись под деревом, уснул.

Мне приснился тревожный сон. Я вздрогнул, открыл глаза, прислушался. Вблизи отчетливо раздавался треск. Я пригнулся и посмотрел по сторонам. В двадцати метрах от меня стоял пограничник. Он усердно ломал сухие ветки и напевал песню. Словно заяц, я вскочил с места и бросился бежать. За лесом начиналось невспаханное поле.

«Значит, я у самой границы», — мелькнула мысль. Еще раз мне пришлось перейти шоссейную дорогу. Вдали чернел лес, и как только я повернул к лесу, передо мной выросло проволочное ограждение.

Резать ограждение мне не пришлось. Я подлез под нижний провод, приподняв его рогаткой. Я полз по сы-

рой, пахучей земле, ощупывая каждый сантиметр. В стороне от меня мигал огонек. Приподнявшись, я сделал несколько прыжков, проскочил распаханную контрольную полосу и тут заметил тонкий сигнальный провод. Я осторожно его перешагнул. Он вел в сторону, где виднелся вбитый в землю кольшек.

Граница пройдена! Теперь я бежал бегом. Высокий бурьян затруднял мой путь, мтели ноги. Когда-то здесь были хутора, теперь стояли столбы. Они несколько раз меня пугали, я падал в бурьян, минуту прислушивался и, убеждаясь, что это не пограничник, а обгорелый столб, опять бежал что было сил.

Через полверсты я снова обнаружил распаханную полосу. Пришлось опять ощупывать рукой каждый шаг, чтобы случайно не зацепить сигнальный провод.

Вскоре я спустился в овраг, поросший густым кустарником. Передо мной в темноте заблестела вода.

Что это — река Буг или какое-то озеро? Я отломил ветку и бросил ее в воду. Течение понесло ветку вправо. Значит, река — решил я. Преодолеть ее нужно до рассвета. Иначе меня накроют польские пограничники.

После дождя вода в реке заметно поднялась, и переплывать реку в одежде я не решился. Я шел по берегу, поросшему кустами, в поисках переправы, но ничего не находил. В стороне чернел разрушенный мостик, которым когда-то пользовались люди.

Теперь от него остались только столбы. Я осматривал каждый столб и, к моему счастью, на одном обнаружил прибитую доску. С большим трудом я оторвал ее, поло-

жил в воду и привязал к ней свою одежду. Толкая вперед доску, опустился в холодную, черную воду. Мой «плот» течение несло в сторону, но все-таки я переправился, поднялся на крутой противоположный берег, выжал одежду и, радуясь удаче, пошел по польской земле.

Чтобы запутать следы, пришлось несколько раз менять направление, замечать следы ветками, перепрыгивать канавы, наполненные водой. Ботинки жали. Я разулся и шел босиком. Несколько раз попадались на пути хутора. Пробовал залезть в сарай, но мешали собаки. Каждый раз, когда приближался ко двору, они поднимали истошный лай, стараясь перебрехать друг дружку.

Быстро занималось утро. Небо освобождалось от туч, алел восток. Я свернул в лес, прошел полверсты, собрал сухих веток и разжег костер, чтобы обсушиться. Невдалеке по лесу бродил пожилой, сутулый человек, собиравший грибы. Он не обращал на меня внимания, но мне было беспокойно. По всем признакам это место было не грибное. Я загасил костер и пошел дальше. Израненные ноги нестерпимо болели, и я забрался в густые заросли лозняка, подсушил немного одежду и прилег отдохнуть. Однако долго отдыхать не пришлось. Невдалеке послышался треск сучьев. В кустах кто-то бродил.

«Может, забрела корова?» — подумал я, стараясь рассеять страхи. Треск повторился с другой стороны, еще отчетливее. Теперь я не сомневался, что в кустах ходит человек. Через минуту почти рядом раздалась русская речь:

— Пойдем! Ничего нет.

В этот момент я готов был умереть на месте. Я видел, как два пограничника шли от меня в нескольких шагах. Я лежал в кустах, прислушиваясь к учащенному биению сердца, и мысленно молился. Пограничники ушли, но я пролежал на том же месте, боясь шевельнуться, до наступления темноты.

Теперь мой путь лежал строго на запад. На лесной тропинке, возле болота, я нашел полбуханки хлеба. Он был завернут в какую-то тряпицу и показался мне свежим. Я отошел в сторону и, прежде чем есть, преклонил колени и начал громко молиться, благодарить Бога за Его чудеса. Но не успел я закончить молитву, как у меня за спиной раздался громкий окрик:

— Стой! Подь ближе!

Как стрела, выпущенная из туго натянутого лука, бросился я в глубь леса. Раздались несколько коротких очередей из автомата. В другой стороне ответил одиночный выстрел из карабина, и гулкое эхо наполнило лес.



Бежал я долго. Бежал до полного изнеможения. Что означал этот окрик? Почему стреляли? Граница была давно пройдена. Не стоял ли в лесу патруль? Если бы я не встал на колени и не молился, обязательно напоролся бы на патруль. Эта мысль меня утешала. Значит, меня ведет Господь, не иначе. Он проявляет ко мне особую милость.

Я присел в кустах и немного вздремнул, но как только поднялось и пригрело солнце, снова отправился в путь. Впереди, из-за холма, показался хуторок. Решил зайти в избу. Навстречу мне вышла хозяйка:

— Пане, як вы не маєте папиру, то туды не ходить! Идите вот сюда, влево.

— Я маю папиры, — ответил я ей смело и, отойдя метров сто, повернул влево, к лесу, и вышел на шоссе́нную дорогу.

По дороге лениво расхаживал патруль. Я обошел его стороной, укрылся в ржаном поле. Недалеко от меня мужчина укладывал на повозку снопы. Я подошел к нему, начал разговор:

— Неудобно накладывать снопы одному. Позвольте, я помогу.

— А ты кто такой будешь? — спросил поляк и уставился на меня мутными, бесцветными глазами.

Он смотрел на меня недоверчиво и ждал ответа. Вместо ответа я спросил:

— Скажите, пан, там, впереди, есть войско?

— Нет, ты войско уже прошел. Тут три дня стояло оцепление — от Белой Подляски до Люблина. Кто-то перешел границу, — добавил он.

— Дякую, пан, — сказал я и повернул назад.

Поляк стоял на возу и долго провожал меня взглядом. Не знаю, о чем он в это время думал, но я несколько раз оборачивался и видел его в том же положении.

Питался я подаянием. Поляки не отказывали в куске хлеба. Был, правда, случай, когда хозяин отказал. Я опустил голову и пошел в сторону леса, но он мне крикнул:

— Вернись!

— Что пан хочет? — спросил я его.

— Иди в хату, жена тебя накормит. Одежда на тебе не наша.

— Я бегу из Сибири, — признался я поляку.

— Вот как! Ну тогда я тебе дам польский пиджак. Лучше будет. Пусть тебе Матка Бозка поможет.

Через несколько дней мой путь преградила Висла. Чтобы ее перейти, пришлось зайти в город Демблин. Там был мост. На мосту стоял часовой, но документы не проверял. Переходил я его рано утром, и часовой смотрел на меня в упор, готовый вот-вот, казалось мне, спросить: «Пан, ваши папиры?»

Сразу же за мостом я свернул влево, к железнодорожному разъезду. Там стоял порожний угольный состав. Он направлялся в Катовице. Не долго думая, я залез в «углярку». Через несколько минут состав тронул. Замелькали здания, столбы, деревья. Только перед вечером поезд остановился на большой станции. Паровоз набрал воды, и состав пошел дальше. Поезд остановился в полночь. Я спрыгнул в темноту, как в колодезь. «Куда идти? Что делать?» — встали передо мной привычные вопросы.

Хотелось пить. Сутки у меня ничего не было во рту. Я вышел к огородам, нашел грядки и подкрепился огурцами. Спал в снопах почти до полудня, а когда выбрался из своей норы, передо мной чернели шахтные сооружения. Я привел себя в порядок и вышел на дорогу. Навстречу мне шел шахтер.

— День добрый, пане, — начал я осторожно. — Скажите, как далеко до Катовице?

— Сорок километров.

— А до Кракова?

— О, Краков далеко отсюда! А тебе, пан, куда? — спросил шахтер и с недоверием принялся осматривать мою одежду.

— Мне надо на Краков, — начал я. — Иду вот с Громады.

— А где эта Громада? — спросил шахтер, закуривая.

На этот вопрос я не мог ответить, и потому вместо ответа сказал:

— Спасибо пану!

Я повернул в сторону Кракова. Несколько раз я оглядывался назад. Шахтер стоял на том же месте и смотрел мне вслед. Скрывшись от него за постройками, я повернул на Катовице. Позади громыхал прицепом трактор. Я вскочил на прицеп, дружески махнул трактористу и проехал километров десять.

К границе я должен был подойти со стороны городка Прудник. Там я переходил границу в 1947 году.

Спустившись с пригорка, я увидел грузовик. Шофер проверял мотор. Я легко вступил с ним в разговор.

— На Катовице? — спросил шофер. — Сядай!

Я сел в грузовик и через полчаса был в Катовице — большом, многолюдном городе. Я шел по узким улицам на запад, ориентируясь по солнцу. От огурцов, съеденных мною в большом количестве, у меня началось расстройство желудка, и одновременно я страдал от острого чувства голода. На улице я нашел затоптанную корку хлеба, поднял ее незаметно, очистил, в душе возблагодарил Бога и съел в одну минуту, но голода не утолил.

В шахтерском поселке был магазин, где можно было купить хлеба, но у меня не было денег. Пришлось продать шоферу кусачки, которые я пронес через всю Россию от омских лагерей. Я хранил их, как великую ценность, а теперь отдавал их за полбуханки хлеба.

В стороне от дороги, вдоль ручья, грядую тянулись кусты. Они меня скрыли до вечера, а ночью мне удалось вскочить на товарный поезд, и я благополучно доехал до станции Прудник. До границы оставалось четыре километра.

ВТОРАЯ ГРАНИЦА

Яшел к границе, прикрываясь кустарником, и вспоминал 1947 год. Местность была неузнаваемой: вместо холмов простиралась равнина. Это меня беспокоило. Неожиданно на моем пути появились заграждения из сетки. «Значит, здесь граница», — решил я, но, перебравшись через заграждение, я оказался в огородах. По всему было видно, что я заблудился.

Несколько верст я шел полями, не меняя направления. Приметил копну, забрался в нее поглубже, чтобы поспать до утра. Но спать я не мог. Тревожили мысли: «Где я? Может быть, рядом граница?»

Утром я стал присматриваться к местности. На полях появились крестьяне. Я подошел к поляку:

— Скажи, пан, как мне выйти к станции Прудник?

— О, — протянул поляк, — Прудник вон туда, — и он показал на восток. — А кто же ты, пан?

— Да вот, вчера немного выпил и... заблудился, — сказал я невпопад. — Спасибо, пан, спасибо... Мне надо спешить.

Теперь я видел то место, которое избрал как исходный пункт в 1947 году. Параллельно шла железная дорога, потом мост через речушку, холмистые поля, пограничное село, заросшие бурьяном огороды.

Прикрываясь темнотой, я миновал огороды, незаметно перешел деревянный мостик и вышел к холмам. Меня

сильно смущало то, что я не встретил пограничных заграждений. Однако я продолжал идти по целине, избегая троп и дорог. От росы я промок до нитки. На рассвете вышел к проселочной дороге, обсаженной вишнями. Я вспомнил эту дорогу и даже нашел ту вишню, с которой семь лет назад срывал вишни. Большое старое дерево показалось мне родным и близким. Несмотря на опасность, я долго стоял возле него, вспоминал свою жизнь, а потом сел под деревом отдохнуть. Меня клонило ко сну, но, чувствуя опасность, я простился с моей заветной вишней и ушел в лес. Там я проспал почти весь день. Несмотря на мучительный голод, настроение у меня было хорошее. Передо мной зеленела чехословацкая земля.

«Больше, Миша, осторожности, больше осторожности, — твердил я сам себе, как урок, — скоро придет настоящая свобода». Однако радость была преждевременной.

Вечером, как только тени начали скрывать очертание деревьев, я отправился в путь. Шел всю ночь. Уже светало, когда впереди замелькали два силуэта. Они шли мне навстречу. Я спрятался в кустах. Это оказались военные. Они шли к пограничной вышке. «На какой же я территории? В Польше или в Чехословакии?» — спрашивал я себя.

В лесу я нашел кусок газеты с адресом редакции: «Варшава, улица Смольная». Значит, я еще в Польше.

В полдень мне повстречался человек. Он работал в поле.

— Пан, день добрый.

Человек смотрел на меня, ничего не отвечая.

— По-русски пан разумеет?

— Трохи.

— Скажи мне, добрый пан, где я нахожусь — в Польше или в Чехословакии?

— В Польску.

— Я вчера ушел из Польши возле Прудника. И вот заблудился.

— Ты не бойся, — отвечал поляк спокойно. — Граница тут рядом. Она проходит вон там, по селу. На той стороне реки уже Чехословакия. Граница тут поворачивает круто.

Оказалось, что я уже был в Чехословакии и опять пришел в Польшу. Я слушал поляка и не знал, верить ему или нет, а он охотно мне объяснял:

— Там распаханная земля. След оставишь и тебя догонят псы. Иди прямо по улице. Как мостик перейдешь, вот тебе и Чехословакия. Можно идти и через горы, но это далеко.

— Нет, я пойду через горы, — сказал я твердо, поблагодарил поляка и ушел в лес.

Долго я наблюдал за поляком, не пойдет ли он в деревню, чтобы доложить обо мне начальству. Но он продолжал пахать, а я, как только стемнело, перешел около села речку и вышел к холмам. Это была Чехословакия.

Всю ночь я шел на юго-запад, ориентируясь по луне. Утром встретил в поле молодого чеха. Он ремонтировал жатку, прицепленную к трактору, ему помогала жена. Я подошел к ним и предложил свою помощь.

— А вы в этом деле понимаете?

— Немножко.

— Тогда давай посмотри, что тут, — сказал чех по-украински.

Его жена хорошо говорила по-русски. В нескольких словах я рассказал им свою историю. И когда жатка была исправлена, жена сказала:

— Да оно сразу было видно, что вы не чех и не поляк. Вам надо быть осторожным. Тут разные люди живут. Ну ничего, — добавила она ободряюще, — я вас отведу к маме. Она вас накормит.

Ее мать, крепкая, дородная старуха, встретила меня радушно. Ей пришлось несколько раз подливать мне борщ. Потом она взяла у меня сумку и положила в нее хлеба, луку, бутылку молока.

— Вот пятнадцать крон. Возьми. Больше у меня нет... — сказала женщина, провожая меня к дороге. — Иди по шпалам. Так будет лучше. А пойдешь по шоссе — могут спросить документы.

Я свернул в лес, как в родной дом. В лесу я чувствовал себя в безопасности.

Мои ботинки пришли в абсолютную негодность. Надо было подумать о берете, потому что фуражек в Чехии не носят, также нужна была рубашка.

Ночевал я в копне сена. Но мне не спалось. Не мог уснуть от воспоминаний. Сколько верст я отшагал за последние полгода! Сколько рек я перешел вброд, сколько переплывал! Сколько пересек железных дорог! Самое трудное, кажется, осталось позади. Слава Богу! Еще од-

на граница, и я на свободе, в безопасности. Сколько будет радости, когда встречу русских людей в Германии! Будет что рассказывать им о моих мытарствах.

Я засыпал и просыпался, и каждый раз мне хотелось молиться Богу, и я молился, испытывая великую радость освобождения.

На другой день под вечер я заметил в стороне от узкоколейки красивый домик. Возле дома, в огороде, работал чех. Я подошел к нему и показал на свои развалившиеся ботинки:

— Добрый человек, нет ли у вас для меня ботинок покрепче? Иду издалека.

Хозяин домика, машинист на узкоколейке, оказался человеком действительно добрым. Он пригласил меня в свой домик, и его жена сразу же принялась угощать меня лепешками с салом. Я ел и думал: «Нет, не оскудела еще любовь человеческая на земле. Вот он, чужой мне человек, а принимает меня, как родного». Хозяин тем временем принес несколько пар ботинок. Я выбрал пару покрепче. Хозяйка смотрела на меня с любопытством и, казалось, без объяснений знала, кто я такой и откуда.

— Иди на Оломоуц, — сказал мне машинист, прощаясь. — Оттуда до границы можно товарняком доехать.

Возле Оломоуца, в рабочем поселке, мне встретилась семья русских эмигрантов. Я провел у них весь день, рассказывая о сибирских лагерях. Хозяин дал мне сандали, девяносто крон денег и хорошую карту. Теперь я ехал в Прагу с надеждой, что через два-три дня перейду границу.

Прагу я решил обойти. Вечером возле села встретил пожилого человека, спросил его о дороге на запад. Он оказался сельским учителем и сразу же разгадал мои планы.

— Да ты не бойся, я не коммунист. Говори правду, откуда ты? — настойчиво спрашивал незнакомец.

— Скажите мне, где и как можно перейти границу? — спросил я откровенно.

— Нигде и никак, — спокойно отрезал учитель. — Ты границу не перейдешь. Многие уже пробовали, никто не прошел. Стреляют без предупреждения.

— Я две границы уже прошел.

— Пробуй, если ты такой герой. Возьми вот несколько крон. Садись на поезд и поезжай до станции Хеба. Пробуй свое счастье.

Я купил билет и сел в поезд. Мой грязный комбинезон, видно, смущал пассажиров. Они держались от меня подальше, а это было как раз кстати.

В вагоне оказалось двое военных с автоматами. Один из них, старший, несколько раз на меня поглядывал, но когда я предъявил контролеру билет, они занялись своими разговорами. На станции Хеба, сверх моего ожидания, началась проверка, появились пограничники. Люди стали, кроме билетов, готовить пропуска. У меня пропуска не было. Я воспользовался темнотой и сразу же у дверей повернул в сторону, под вагоны, и, не оглядываясь, пошел вдоль путей на восток. В двух верстах от станции я зашел в лесок. Это было кладбище. На кладбище мне приходилось спать и раньше, но теперь оно было для меня особенно кстати. Я прилег на могилу и спокойно задремал.

ТРЕТЬЯ ГРАНИЦА

День был солнечный, теплый. Тишина и пустыньность кладбища наводили меня на размышления. Днем я купил в городке хлеба, а вечером направился к границе. Все чаще и чаще встречались мне надписи. Я шел по запретной зоне. Неожиданно передо мной выросла целая гряда проволочных заграждений. Как нужны мне были кусачки, а я променял их на хлеб! В стороне от меня, в заграждении, пограничники светили фонарями. Они о чем-то громко разговаривали, выкрикивали непонятные мне слова.

Я полз к заграждению, нащупывая рукой секретный провод. Такой провод я нашел. Он оказался натянутым на планках, прибитых к столбам. Первое заграждение имело высоту метра два. Колючая проволока была настолько густой, что через нее не мог бы пролезть и заяц. Я набросил пиджак на проволоку и перескочил первое заграждение, но как только прикоснулся ко второму ряду заграждений, в глазах у меня вспыхнули искры, и я упал на землю. Очнувшись, я увидел, что второе заграждение было укреплено на изоляторах. Значит, оно было под напряжением.

В темноте я с трудом нашел свою сумку с пожитками. Тем же путем пришлось уйти от границы за железную дорогу. Настроение мое ухудшилось. Я готов был плакать из-за неудачи.

После обеда я зашел в деревню, чтобы найти лестницу. Все лестницы оказались или прибитыми к сараям, или вкопанными в землю. Вечером, когда стемнело, мне удалось оторвать от сарая лестницу и отнести ее в лес.

Ночью пошел дождь. Земля на полях превратилась в липкую, тягучую грязь. Я шел напрямик, изгибаясь под двумя кусками лестницы. Мои сандали засасывала грязь. Я снял их и пошел босиком, много раз падая и вставая. Ноги ранили колючки, сочилась кровь, а дождь все лил, не переставая.

«Господи, Ты видишь мои страдания. Где Ты есть, Боже?» — стонала моя душа. Но я здесь же вспомнил евангельскую историю о Христе, когда Он нес крест на Голгофу. Я страдаю за свои грехи, а Он, Сын Божий, за что страдал? Эта мысль несколько отвлекала меня от боли и переживаний. Я нес лестницу и думал, как я ею воспользуюсь. Ведь лестница мокрая, она будет хорошим проводником электричества. Левее от меня раздалось несколько автоматных очередей. Кто-то отстреливался одиночными выстрелами. Стрельба уходила все дальше и дальше. Видно, пограничники за кем-то гнались. Впереди, возле заграждений, показались вспышки фонаря. В этой обстановке переходить границу было немыслимо, и я повернул назад, к лесу. Там я спрятал лестницу и присел под елкой.

Вскоре забрезжил рассвет. Дождь не переставал. Мне пришлось весь день сидеть под дождем, дожидаясь темноты. Вечером я снова взял лестницу и пошел к границе. Тропинка, по которой ходили пограничники, привела ме-

ня к вышке. Два силуэта двигались в моем направлении. Я свернул в кустарник и присел. Один из двух патрульных полез на вышку и стал говорить по телефону. Вскоре он слез с вышки, и они оба направились в мою сторону. Я прижался к земле и замер. Пограничники прошли почти рядом. Я встал и бросился к вышке, но навстречу мне показались еще двое пограничников. Я упал в траву и взмолился: «Господи, Ты провел меня по такому большому пути. Неужели я здесь попадусь? Проведи же меня и здесь. Неужели в этой траве — моя смерть?»

Пограничники отошли к моей лестнице. Я воспользовался этим случаем и бросился за железную дорогу, в лес.

Уже начинало светать, когда я достиг запретной зоны. В стороне от хутора стоял сарай. Надо было отдохнуть и обогреться. В сарае я нашел солому, зарылся в нее и крепко уснул. Проснувшись от холода, решил зайти в избу и попросить горячего чаю. Хозяин принял меня дружелюбно, хозяйка начала угощать чаем с булками.

— Отдохни у меня, — советовал мне хозяин, — не бойся.

В узких глазах хозяина мелькнуло лукавство. Он прятал от меня взгляд и этим вызывал у меня недоверие. Когда он вышел во двор, я хотел выйти за ним, но он сразу же вернулся.

— Погода плохая, — проговорил он, — куда пойдешь? Ложись у меня.

— Нет, мне надо идти, — сказал я, вставая из-за стола. — Путь у меня долгий.

В это время внезапно открылась дверь. На пороге стоял пограничник.

— Руки вгору! — скомандовал резкий, визгливый голос.

Я стоял, не двигаясь с места, но рук не поднял. Ко мне подошел хозяин, метнул в меня злобный взгляд и, подняв мои руки, прошипел над ухом, как шмель:

— Прошу, так трымай руки.

Хозяин тщательно меня обыскивал, а пограничник держал передо мной автомат. Потом он сделал ко мне несколько шагов и приказал:

— Раздевайся наголо!

Я снял лагерную трикотажную майку. На ней было не меньше двадцати дыр, она истлела от времени и пота. Жена хозяина стояла рядом и плакала:

— Что вы, окаянные, делаете с человеком? Он бедный, несчастный, голодный. А вы... Накажет вас Бог, вот увидите.

— Молчи, баба! — шикнул на нее муж.

Пограничник начал допрос, держа автомат наготове:

— Кто ты такой?

— Словак из Кримницы.

— Что ты делал на границе?

— Я никакой границы не знаю. Я зашел сюда пообедать, а вы, может, переночевать меня устроите, — отвечал я, смеясь.

Пограничник осторожно подошел ко мне, взял мою сумку, в которую было сложено содержимое моих карманов, и вывел меня во двор.

— Можешь сам ехать? — спросил он меня, указывая на мотоцикл.

Я отрицательно покачал головой.

— Ну ладно, — пробурчал пограничник, — садись сюда да помни: если побежишь — буду стрелять!

Мотоцикл тронул, свернул на проселочную дорогу.

«Что делать? Схватить его за горло? Бежать? — мелькали в голове мысли. — Если я здесь не перешел границу, значит, мне ее нигде не перейти. Нет, буду бежать, буду бороться за жизнь до конца. А если пристрелит — значит, таков конец, конец страданиям», — размышлял я. Когда это решение созрело, мне захотелось помолиться: «Господи, я, наверное, живу последние минуты. Много я нагрешил в жизни. Прости мне, грешнику, возьми мою душу в Свой покой».

На пригорке мотоцикл замедлил ход. Впереди чернела пашня. Я собрал силы, толкнул мотоцикл, а сам бросился бежать вниз.

— Стой! Стой! — неистово кричал пограничник.

У меня за спиной, один за другим, раздавались одиночные выстрелы. Пули, визжа, ложились у моих ног. Я закричал, как будто был ранен, замахал руками, начал хромать. Выстрелы прекратились. Но как только пограничник заметил, что, несмотря на «ранение», я не сбавляю темпа, он начал стрелять длинными очередями. Теперь пули падали впереди, взрывая передо мной землю.

На моем пути оказалась река. Я прыгнул в воду, взмахнул руками и через несколько секунд оказался на другом берегу.

Автоматчик дал по мне несколько длинных очередей, и выстрелы прекратились. Видно, кончились патроны.

Впереди чернел лесок. Я бросился бежать в лесок что было сил. Я знал, что пограничник поднимет тревогу, начнется облава, но другого выхода не было. Я влез на дерево и спрятался в толстых ветках, подальше от ствола, учитывая, что каждое дерево будет тщательно осматриваться. Едва перестали качаться ветки, как внизу раздался шум. Пограничники рыскали по лесу на лошадях. Зачастил дождь, пронизывая меня насквозь. Я слышал лошадиный топот, голоса пограничников, команды командиров, и в это время усиленно молился Богу: «Твоя сила, Господи, сохранила меня от смертельных пуль. Сохрани же меня здесь, иначе я умру заключенным».

Когда минут через двадцать пограничников не стало, я плакал от радости, хотя и не знал, что будет со мной через час. Начинало темнеть, дождик не унимался, мои руки и ноги истекали кровью, болели натертые плечи, гноились на ногах раны, но радость спасения наполняла мое сердце. Спустившись с дерева, я направился к железной дороге. Несколько раз я пытался вскочить на товарный поезд, но в темноте не мог.

Дождь не переставал всю ночь. Я шел, шлепая по лужам, к полустанку. Только перед рассветом тронулся первый товарный поезд, и я вскочил на буфера, перелез тормозную площадку и таким образом доехал до города Пилзень. Теперь я шел по путям, как рабочий, едва волоча ноги. В саду, за огородом, я заметил крохотную избушку. На дверях висел замок. Окошко было закрыто.

Я сбил замок, зашел внутрь, открыл ставни. Чтобы не было заметно, что внутри избушки кто-то находится, я снова повесил замок на дверь, снова закрыл ставни. В избушке стояла кровать с матрацем. Я лег, укрывшись тряпьем, и вскоре уснул крепким сном.

Не знаю, сколько я спал, но проснулся от нестерпимой жажды. Долго я пытался встать на ноги, но не мог. Все тело ныло от боли. Через щели ставней пробивался свет. Был день. С большим трудом я вышел в сад и утолил жажду водой из дождевой лужи. В голове стоял шум. Все гудело, кружилось, темнело в глазах.

Качаясь, я прошел по саду. Пришлось вернуться в избушку. Я окончательно обессилел. Ночью мне удалось подкрепиться медом из улья, а утром я вышел на лесную тропинку. Долго бродил я по лесу, прислушиваясь к жалобному шуму ветра. Пересекая дорогу, встретил двух женщин. Поздоровавшись, попросил у них несколько крон.

— Зачем тебе кроны? — просила одна из них.

— Нужен билет на поезд, — ответил я.

— Ничего, ты молодой. Пройдешь пешком, — сказала младшая.

Вечером я зашел на вокзал небольшой станции. В зале никого не было. Улучив удобный момент, я сорвал со стены карту Чехословакии и вышел на улицу. На другой день я украл велосипед и проехал на нем верст двадцать на юг.

В моей душе появилось озлобление на всех людей, живущих свободно и беззаботно. Я вспомнил чеха-преда-

теля, озверелого пограничника. Гнев наполнил мое сердце. Я испугался этого чувства. В таком состоянии я не мог молиться Богу, а без молитвы я был обречен на смерть. Голос совести меня сдерживал от разбойных действий, и я начал попрошайничать при каждом удобном случае. Так проходили дни. Надо было пробираться к границе и еще раз испытать свое счастье. Но чтобы доехать до границы, мне нужны были деньги, а их никто не давал.

Как-то я зашел в маленький домик на краю поселка и попросил у хозяйки молока. Она охотно поставила кувшин на стол, принесла стакан.

— Где же ваш муж? — спросил я ее.

— Работает в Праге.

— Значит, живете неплохо?

— Хватает.

— Отрежете мне хлеба на дорогу? — спросил я.

Женщина отрезала большой кусок хлеба и подала его мне. Я потерял над собой контроль, схватил со стола нож:

— Говори правду: есть деньги?

— Немного имеем, — ответила женщина, дрожа от страха. Она готова была разрыдаться.

— Мне много не надо. Дайте немного, и я вас не трону.

Женщина положила на стол несколько крон:

— Это все, что имеем.

— Спасибо, — сказал я. — Бог вас за это наградит.

Только никому обо мне не говорите.

— Нет-нет, не скажу, — сказала женщина и еще дала на дорогу хлеба.

Я отъехал на велосипеде в сторону, сел под деревом на опушке леса и начал размышлять вслух: «Кто же теперь ты, Миша? Вор и разбойник. Простит тебе Бог этот грех? Или придется за него отвечать?»

Переходить границу я решил в глухом месте, в горных лесах. За один день я проехал на юг сто километров. За городом Чешская Будевица начались горы. Я свернул влево, на восток. Здесь граница проходила зигзагообразно.

Возле города Каплица я свернул в лес, оставил в кустах велосипед и пошел по горным тропинкам. Солнце скатилось за горы, темнота надвигалась быстро. С большим трудом я преодолевал каждый метр пути. Густой кустарник не позволял идти. Я присел и начал думать о своем положении. Где я? Где граница? Может быть, я ее уже перешел? Немного отдохнув, решил идти вперед. Через час я вышел на просеку. Из мрака выплыли проволочные ограждения. Они были той же конструкции, что и под Хебом.

Я отошел назад, присел под деревом и начал наблюдение. Через полчаса послышался шорох. Это шел патруль: пограничники постукивали ботинками по камням и светили фонариками.

Как только шаги патруля удалились, я подошел к ограждению и осмотрелся. Я бросил горсть травы на проволоку. Проволока заискрилась. С тяжелым чувством на сердце я отошел в сторону. Было ясно, что здесь границу мне не перейти. Долго я сидел в кустах, прислушиваясь к голосам ночных птиц. Неожиданно меня

осенила мысль: не попытаться ли перейти на советскую зону Австрии?

Я возвратился назад к тому месту, где оставил велосипед. Без определенных планов я поехал в направлении города Брно. К вечеру следующего дня передо мной открылась огромная долина. Там играли огни города, через который в 1947 году меня везли, закованного цепью. Теперь я сидел на холме под деревом и наблюдал, как постепенно гасли огни. Люди укладывались спать. Из-за холма показался серп луны. Я вышел в поле, взял снопы ржи и ушел в кукурузное поле спать. Перед сном я снова стал на колени и начал молиться, просить у Бога мудрости, чтобы принять правильное решение. Я молился устами, но в душе чувствовал себя связанным: перед глазами стояла обиженная женщина, у которой я требовал денег.

Утром я решил еще раз попробовать подойти к границе в направлении города Емницы. Там была советская зона, но я знал, что австрийцы могут помочь мне перейти из советской зоны в американскую.

Через два дня я был в десяти километрах от границы. Велосипед я оставил в кустах. Как только стемнело, подошел к границе. До полуночи ориентировался по луне. К счастью, у меня был компас со светящимся циферблатом. Появились надписи запретной зоны, кончились посевы. Тройные ограждения границы оказались такими же, как и в других местах, но когда я подошел ближе, то увидел разницу. Изоляторы электрической проводки были не на каждом столбе, а через два столба. Значит, нижний провод можно поднять на сухие рогатки.

Я вернулся в кустарник и там провел весь день. Вооружившись рогатками, вечером снова подошел к границе и начал наблюдать из кукурузной полосы за движением патрулей. Как только они прошли второй раз, я подполз к первому заграждению и подставил рогатку под электрический провод. Первый и второй провода поднялись почти до третьего. Теперь я резал внутреннее заграждение. Третье заграждение я преодолел еще быстрее, проскочил контрольно-следовую полосу.

«Господи, — помолился я на ходу, подняв руки к небу, — это Ты меня провел! Теперь все в порядке! Можно сказать, я на свободе».

Я бежал от границы, путая свои следы, бежал долго, не оглядываясь, и сам удивлялся, откуда у меня брались силы бежать с такой скоростью.

На востоке небо посветлело, и так как местность была открытая, я зарылся в копну. Радость освобождения так меня взволновала, что я не мог уснуть. Тело ныло от боли и усталости. В полдень я выбрался из копны и отправился в путь.

ЗДРАВСТВУЙ, АВСТРИЯ!

Переправившись через узкую, но быструю и глубокую реку, я оказался в австрийской деревне. Здесь помогло мне знание немецкого языка. В первом же доме я рассказал о себе пожилой женщине.

— Ты, молодой человек, счастливый. Я слышала, что за рекой стоит оцепление. Так всегда бывает, когда кто-либо перейдет границу. Как же ты прошел?

— Господь меня провел, — ответил я уверенно.

— Не иначе, — согласилась хозяйка.

Она охотно угощала меня лепешками, совала их в мои карманы.

— Бери, в дороге пригодится, — настаивал хозяин. — До Вены ты должен проехать поездом. Поезд останавливается в американской зоне. На поездах контроля нет. А по дорогам не ходи, опасно.

— Как же ехать поездом, если у меня нет денег?

— Вот несколько марок.

Я вышел из села, исполненный надежды, что через день-два свобода станет моим достоянием в полном смысле слова.

Это было 9 сентября 1954 года.

Я шел к ближайшей станции, наслаждался погожим осенним днем, радовался всему — и солнцу, и ветерку, и прохладе. Несколько раз я сворачивал с дороги в безлюд-ные места и молился Богу. Не знаю, откуда брались слова

благодарения. Я много раз каялся в своих грехах, и теперь, казалось, я начинаю новую, уже безгрешную жизнь.

«Зачем грешить, будучи свободным? — думалось мне. — Когда я был беглецом, тогда другое дело. Надо было спасать жизнь. А теперь, через день-два, я встречу американцев и расскажу им о себе всю правду, получу работу и буду жить да прославлять Бога».

Темнело, когда я по привычке забрался в копну сена и уснул. В ту ночь приснился мне сон. Я считал годы, проведенные в неволе, и откладывал их на пальцах. Получалось восемь лет. На самом же деле я был невольником семь лет. Это меня очень удивляло. Я снова пересчитывал годы, и снова получалось восемь лет. Проснувшись, я долго думал об этом сне... Вскоре мне, однако, пришлось убедиться, что сон был действительно пророческим.

Десятого сентября я сошел с поезда на многолюдном венском вокзале. Шум города обдал меня, словно дождем. На каждом шагу мне встречались американские военные, и я смотрел на них с радостью и удивлением.



Я подошел к австрийцу и спросил у него по-немецки, где находится американская военная комендатура.

— Я вас проведу, — ответил любезный австриец. — Я как раз иду в том направлении.

Я пошел за австрийцем. Он пытался узнать, кто я, откуда, зачем мне нужна комендатура. Я уклонялся от ответов, оглядывался по сторонам: австриец мог завести меня в советскую комендатуру.

Незнакомец оказался порядочным человеком. Он привел меня к американскому полковнику. Тот вызвал переводчика.

— Откуда и кто ты? — спросил серьезный, тучный военный.

— Я бывший заключенный советского концлагеря. Бежал из Сибири.

Окружившие меня американцы, услышав мой ответ, насмешливо заулыбались. По их лицам я видел, что они мне не верят. Они поглядывали друг на друга, посмеивались, а полковник, недовольно крякнув, не пожелал со мной разговаривать.

Меня сразу же взяли под арест, посадили на джип и отвезли на окраину города, в тюрьму. Такой встречи я не ожидал.

Только через четыре дня меня вызвали снова, допросили и отправили на самолете в город Линц. Там посадили меня в холодный, сырой подвал без единого окна и заперли за мной железную дверь. Это было 14 сентября 1954 года, в день моего рождения. В этот день я ругал себя: «Ну и глупец ты, Миша: Бог вывел тебя на свободу,

а ты сам пришел в тюрьму! Да еще в какую! Хуже сибирской». Как хорошо и приятно спалось мне в поле, в лесу, в стогах сена, в сараях, а теперь спать приходилось на холодном и сыром каменном полу.

Начались ежедневные допросы. Несколько раз меня фотографировали, снимали отпечатки пальцев, а потом привели в особую комнату для испытания на так называемой «криминальной машине» — детекторе лжи.

— Слушай, — сказал мне инструктор. — Эта машина — новейшее американское изобретение. Она разоблачает преступников. Поэтому отвечай на все вопросы правдиво, иначе тебе же будет хуже. Неправильные ответы машина отметит сразу.

— В Советском Союзе этим машинам не верят, — сказал я инструктору по-немецки.

Он надевал на меня «сбрую», слушал меня внимательно и с недоверием смотрел мне в глаза.

— В Советской России таких машин нет. Это мы знаем, — ответил инструктор.

Машина дала хорошие результаты — помолившись, я говорил только правду. На следующий день американский чиновник принес мне в камеру костюм, рубашку, галстук, ботинки и белье.

— Бери, надевай, — сказал он дружелюбно, протягивая пакет. — Это тебе подарок от «дяди Сэма». Знаешь его?

— Нет, у меня нет дяди.

— Теперь у тебя есть дядя. Этот дядя — Америка. Понимаешь?

Я утвердительно кивнул головой. В первый раз в своей жизни я надел хороший шерстяной костюм. Смотрел на себя и любовался: «Смотри, Миша, теперь и ты на человека похож».

Вскоре меня перевезли в город Зальцбург и поселили в одной комнатухе с американцем. Он пригласил меня в ресторан, усадил за стол и, подмигивая, спросил:

— Выпьем?

— Нет, я не пью.

— Русский и непьющий? — американец вопросительно посмотрел мне в глаза.

— Видите ли, — сказал я, — мои родители были верующие, и я хочу жить так, как они жили.

— Я тоже верующий, — выпалил американец.

— Какой веры?

— Баптист.

— У нас баптисты не пьют, — заметил я.

— А у нас немножко разрешается.

— Нет, я твердо решил никогда не пить и не курить, и как только буду на свободе, сразу пойду в русскую церковь.

Мой ответ удивил американца. Он угостил меня сытным обедом.

24 сентября 1954 года меня перевезли в Германию, в пригород Франкфурта, и поселили на вилле, где жили американцы. На другой день началось новое следствие. И снова мне пришлось рассказывать о своей жизни, начиная от рождения. Это повторялось десятки раз. Иногда следователи прерывали мой рассказ:

— Этого быть не может! Уж это ты врешь! Говори правду!

Больше всего их смущали подробности бегства из сибирского лагеря, переход границ. Это они никак не хотели принять за правду, а я от этого страдал душой и сердился.

— Послушайте, — сказал я однажды взволнованно. — Вот вы — христиане, верующие люди. Это очень хорошо. А когда я рассказываю вам, как ночью в лесах я становился на колени и молился Богу, это вас почему-то смешит. Мне кажется, вы, как и коммунисты, — безбожники. Что же смешного в том, что я молился Богу и с верой в Него проходил через опасности?

Это заявление оскорбило следователей. Словно по команде, они все встали, и старший сказал конвоиру:

— Уведите его.

До Рождества меня не вызывали на допрос, ни разу. На Новый год в мою комнату зашел один из следователей, по-дружески поздоровался, предложил закурить.

— Спасибо, я не курю.

— Не начал?

— Нет, и никогда не начну.

— Начнешь, если посидишь полгода. Расскажи о себе правду, и твое дело будет сразу закончено.

— Вы издеваетесь надо мной, как над животным, — ответил я.

Через неделю меня посадили в автомобиль и повезли в центр Франкфурта. В комнате, куда меня ввели, за ши-

роким столом сидели три человека — полные, пожилые американцы. Один из них, в белом халате, седой, с сумным взглядом, долго испытующе смотрел на меня, затем сказал:

— Садись, рассказывай о себе.

— Отец мой был крестьянином, — начал я. — Жизнь нашу поломали аресты. Отца судили за религиозные убеждения, загубили старшего брата. Поэтому я не хотел воевать за такую власть и при удобном случае перешел к немцам.

Американец неожиданно меня прервал:

— Где ты праздновал Первое мая прошлого года?

Недолго думая, я ответил:

— В угольном вагоне, который у нас назывался «угляркой», на пути из сибирского лагеря.

Вопросам не было конца. Это изматывало мою душу, и я уже готов был встать и сказать: «Стреляйте, мне надоело жить на этом свете!»

Наконец ко мне подошел врач и усадил меня на кровать:

— Снимай рубашку!

Он сделал мне укол.

— Считай: один, два, три...

Я считал до семидесяти.

— Как себя чувствуешь? — спросил врач.

— Кружится голова.

Врач сделал мне еще один укол. Мою голову сдавили невидимые тиски. Я пытался уснуть, но не мог. В памяти всплывали события, о которых я только что рассказывал.

Я встал с кровати. Передо мной, в полутьме, сидели два человека. Один из них сказал:

— Миша, смотри, вот твой брат Федор! Он жив. Узнаешь?

Я с трудом открыл глаза, напряженно всматривался в появившегося передо мной, как из-под земли, человека. Передо мной стоял мой брат.

Сердце во мне встрепенулось, я вскочил с кровати, подбежал к брату, схватил его за руку:

— Федя, Федя, брат!

На меня глянули чужие глаза.

— Да, это твой брат, — твердил мне чей-то голос.

— Нет, это не мой брат! — воскликнул я. — У моего брата на правой руке был короткий палец.

Я держал правую руку незнакомца, а он вдруг заговорил:

— Миша, тебя послали к нам коммунисты. Мы тебе все прощаем...

— Я бежал от смерти! — вскричал я. — Меня никто не посылал!

— Одевайся, — повелительно прозвучал голос у меня за спиной.

Меня взяли под руки и повели в автомобиль. На улице было темно. «Значит, надо мной делали эксперименты весь день. Или я так долго спал?» — путалось у меня в голове.

Меня привели в комнату. Я упал на кровать и спал до вечера следующего дня.

18 февраля 1955 года меня отправили в Нюрнберг, в

сборный лагерь для иностранцев. Он носил название «Валка», но это был не лагерь, а, скорее, «свалка». Туда «сваливали» никому ненужные «отбросы» — людей, от которых все отрекались. Только через полгода я получил немецкие документы.

На работу меня не принимали ни в одно американское учреждение. Пришлось устраиваться у немцев. Моего заработка вполне хватало на жизнь. После каждой полочки у меня оставались деньги. Друзья — а их было вокруг немало — часто меня уговаривали:

— Что живешь, как бирюк? Пойдем, выпьем по шкалику. Пойдем к немкам. Их тут тьма.

Я отказывался под разными предложениями, но никогда не признавался, что я верю в Бога и как христианин не могу вести распутный образ жизни.

В административном отделе лагеря «Валка» служила жена известного профессора — женщина скромная, умная, серьезная. Она отнеслась к моей судьбе сочувственно. Перед Пасхой она вызвала меня в канцелярию:

— Козлов, вас приглашает мюнхенская радиостанция «Свобода». Поезжайте, выступите по радио. Вот вам бесплатный билет.

— Нет, не поеду, — сказала я. — Это все уже устарело.

— Им нужна ваша история.

— Верю. Им нужна моя история, а не я. Спасибо. Где же они были до сих пор?

— Не волнуйтесь, Козлов, успокойтесь, — уговаривала меня секретарша. — Приходите завтра, я вам все устрою.

Когда об этом узнали мои лагерные друзья, они неоступно ходили за мной, уговаривали:

— Чего дуешься? Тебе счастье отламывается, а ты в бутылку лезешь. Иди расскажи правду. Пусть люди знают.

— Люди и без меня правду знают.

Все-таки мне пришлось поехать в Мюнхен. На другой день я кратко рассказал в радиостудии о своем побеге. Ночлег мне дали в «Доме дружбы», предназначенном для теперешних беженцев с Востока. За мое выступление по радио мне дали кожаное пальто, но его в первую же ночь украли в «Доме дружбы». «Ничего себе дружба, — подумал я. — Скорее бы мне уйти от такой „дружбы“».

Был канун Пасхи, и мне пришлось встречать этот великий праздник в «Доме дружбы». С раннего вечера в большой столовой были накрыты столы с разнообразными закусками: ветчиной, икрой, колбасами, жареными утками. На столе красовались высокие пасхальные куличи.

Вечером все жильцы «Дома дружбы» ушли в православную церковь. Я не хотел идти, но меня устыдили:

— Если ты русский, значит, православный. Пойдем, помолимся Богу.

Я вошел в православную церковь, впервые в жизни, и все время стоял перед иконой Георгия Победоносца. Воинственная фигура святого внушала уважение. Он держал длинное копьё, на копьё извивался пронзенный змей. Я не мог понять, как могут люди ставить свечи перед этой длинногривой лошадей, странным змеем и во-

инственным святым? Я вспомнил слова отца: «Сын, Богу кланяйся, Ему служи».

Во мне созрело горячее желание приступить к изучению Библии. Я слышал, что в Мюнхене есть церковь баптистов, и решил завтра же отправиться на ее поиски.

После службы все становились в очередь, чтобы поцеловать крест и руку священника. Я прошел мимо. Во дворе ко мне подошел комендант «Дома дружбы», положил руку мне на плечо и спросил:

— Миша, не коммунист ли ты? Почему ты не целовал крест? Почему с людьми не «христосуешься»? Для чего же ты приходил в церковь?

— Я не православный.

— Ну и что? Я ведь тоже в Бога мало верю, но сегодня особый день: ты можешь поцеловать жену любого начальника, и тебе за это не влетит.

Было около одиннадцати часов вечера. Из церкви все пришли в столовую и сразу же уселись за столы. Комендант постучал о графин с водкой и, призвав всех к порядку, сказал:

— Господа! Поздравляю всех с великим праздником! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — ответили все хором.

Комендант продолжал:

— Я только что говорил со священником, приглашал его разделить с нами трапезу, но его пригласили в другое место, опередили. Он сказал, что после двенадцати ночи мы можем выпить за здоровье всех православных.

Выпьем же, господа, в первую очередь за тех, кто не может так праздновать Пасху, как празднуем сегодня мы!

Все встали и выпили давно наполненные стаканы. Начался оживленный разговор, застучали ложки и вилки, как хлопнушки, выскакивали пробки.

Вскоре на другом конце стола началась драка. Один из моих новых знакомых, Сергей, затеял со своей женой спор. Он сильно ее толкнул, она упала на пол, истерически закричала:

— Он меня убил! Он меня убил, окаянный!

Другие вмешались в спор, и незаметно началась еще одна драка. Какой-то гуляка по кличке Дарданелл начал швырять стулья, ругаясь при этом нецензурными словами. Через несколько минут в дверях появились двое немцев-полицаяев.

Мне было так стыдно за моих соотечественников, что я готов был спрятаться под стол. Люди, которые недавно в речах называли себя политическими борцами, которые недавно были в церкви и ставили свечи святым, теперь, перепившись, выкрикивали непристойные слова, размахивали руками, дико и зло смотрели друг на друга пьяными глазами.

Директор объяснил полицейам, что, дескать, ничего особенного не произошло, что у нас, православных, большой праздник, Пасха. Русский обычай — выпить, пошуметь.

А в это время Сергей, мой знакомый, валялся на полу в блевотине, а рядом с ним, растянувшись, лежала его же-

на, облитая водой. Оба стонали, как раненые. На них никто не обращал внимания.

Теперь я понял, что, в сущности, нет настоящих борцов за свободу России. Я их не видел, не встречал. Есть только проходимцы да шкурники, политические интриганы, которые пьянствуют на американские доллары, а там, в России, люди страдают в лагерях за одно слово, сказанное против власти, и думают, что где-то в Германии, в Америке о них помнят, думают, что-то делают для их освобождения.

В Мюнхене я нашел церковь, о которой много думал. Я нашел русскую баптистскую общину. Там я познакомился с глубоко верующим парнем Павлом Кунцевичем. С ним я много беседовал, молился. Он указывал мне места Священного Писания, которые звали всех людей к истинному покаянию, а не к покаянию из страха. А именно таким было мое покаяние.

Большое впечатление произвели на меня искренние и горячие проповеди миссионера О. М. Я возвращался в «Валку» на велосипеде, как на Божьих крыльях. Радость Господнего прощения переполняла мое сердце. Теперь я ожидал того момента, когда, приехав в «Валку», начну рассказывать своим друзьям о любви Иисуса Христа, о Его прощении.

И как я сожалел, что друзья меня не понимали, не принимали моего свидетельства об Истине и смеялись над моими словами.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Я возвратился в «Валку» с радостным чувством: меня вызвали в Нюрнберг, в так называемый «Заммель лагер фюр ауслендер». Через несколько дней я должен пройти через суд, который устанавливал право на получение документов политического беженца.

Три члена суда были похожи, словно братья: вялые, невыразительные лица, потухшие глаза, ленивые голоса.

Снова начался допрос:

— Ну рассказывай, кто ты такой.

«Как мне все это надоело! — говорил я себе. — До каких пор я буду рассказывать о своих мытарствах?»

Рассказывал я долго, а судьи сидели в тех же застывших позах. Один из них все время позевывал и листал журналы. В конце моего рассказа он неожиданно спросил:

— После окончания войны в Германии не оставались?

— Да нет же, я вам все рассказал о своей жизни.

— Вы свободны! — торжественно объявил старший.

Меня признали политическим беженцем.

Через три недели я переехал в город Дайлинген и устроился на строительный завод токарем. Зарабатывал я хорошо, моя жизнь наладилась, но мою душу томила тоска. Я снова приехал в Мюнхен, посетил церковь евангельских христиан-баптистов. Когда собравшиеся запели: «Хочет всех людей Господь благословить», мое сердце не могло вместить прилив радости. Это был как

раз тот гимн, который очень любили мои родители. С тех пор прошло много лет, но до сих пор меня волнуют эти воспоминания.

После богослужения ко мне подошел проповедник О. М. Наша беседа была недолгой, но очень для меня полезной. Она расширила мои представления о Боге, о всепрощающей любви Христа к человеку-грешнику.

В Дайлинген я вернулся помолодевшим. На работе, у токарного станка, я вспоминал гимны, которые слышал в собрании баптистов, напевал их про себя и ожидал следующего воскресенья, чтобы снова поехать в Мюнхен. Неведомая сила теперь влекла меня ближе к церкви, ближе к верующим людям. Окружавший меня мир стал чужим.

Я написал письмо брату М., пожаловался ему на одиночество, и закончил словами из Лермонтова:

Хочу я с Богом примириться,
Хочу я жить, хочу молиться.

М. ответил мне сразу. Он писал: «Томление твоего духа прекратится только тогда, когда ты окончательно примиришься с Христом и вступишь с Ним в завет через крещение».

Я переехал в Мюнхен без промедления. Не мог ждать. Теперь я ходил на собрания верующих, ежедневно читал Евангелие. Впервые мне открылось, что чем больше я читаю Евангелие, тем больше оно меня радует. Теперь я сам находил в нем Божьи обетования и через Его слово

видел себя в другом свете. Мне ничего не оставалось, как упасть на колени и сказать: «Господи, теперь я Твой! Делай со мной, что Ты хочешь».

В мюнхенской церкви я сблизился с Павлом Кунцевичем, кротким и смиренным братом, искренним, чутким к нуждам других людей. Он работал лесорубом недалеко от Мюнхена, любил природу, любил Христа. Он знал Библию почти наизусть и на все жизненные вопросы находил в ней ответы. Во многом он служил для меня примером.

Чтение Евангелия привело меня к решению вступить в завет с Христом через водное крещение. Теперь я уже не сомневался, что Христос стал моим личным Спасителем, что в Нем я имею вечную жизнь.

В августе 1958 года Германию посетил известный проповедник К. Грикман. Он совершил надо мной обряд крещения, и я стал членом славянской церкви баптистов в Мюнхене.

Теперь я еще чаще встречался с Павлом Кунцевичем, чаще с ним молился, чаще с ним беседовал. Однажды я сказал ему:

— Слушай, Павлик, наконец-то и мне открылось, что имел в виду апостол Павел, когда писал, что для него смерть — приобретение. Я все время боялся смерти. А вот теперь я умирать не боюсь. Со Христом идти в другой мир не страшно.

Павел Кунцевич ласково улыбался и говорил мне:

— Есть еще одно приобретение: быть благочестивым и довольным. Со Христом и это возможно. Вот, к при-

меру, я работаю в лесу. Многие бегут от этой работы, а я доволен ею: солнышко греет, птицы поют, воздух в лесу необыкновенно чистый. Меня зовут в город, даже в Америку, где хорошие заработки, а я говорю: счастье не в деньгах, а в радости осмысленной жизни. В городе я могу эту радость растерять, а в лесу я вот уже десять лет работаю, и эта радость всегда живет со мной. Вот и жены у меня нет, а со Христом я не одинок.

Мюнхенская община была для меня духовной матерью. Одинокая жизнь давала мне большие преимущества, и в то же время я все чаще и чаще сознавал истинность Божьего изречения: «Нехорошо человеку быть одному». У меня были друзья, с которыми я славил Бога и молился, но у меня не было подруги. Бог разрешил и эту нужду.

В начале 1958 года я познакомился с польской верующей семьей. У них было две дочери. Они принимали меня в доме, как родного брата.

9 августа 1959 года я женился на младшей из двух сестер — Ире. Теперь на пути к вечности у меня была спутница — верная, любвеобильная, скромная, тихая, какими и должны быть все христианки.

Ровно через год нам удалось эмигрировать в Америку. Бостонская американская церковь баптистов приняла нас, как родная семья. Они видели наши материальные нужды и охотно нам помогли. Такую жертвенную любовь к людям можно видеть только у детей Божьих. Однако у нас была одна трудность — язык. Английский давался мне с трудом. Меня влекло в русское общество верую-

щих. Я написал письмо Николаю Водневскому. Просил его помочь переселиться в Калифорнию. Через несколько дней я получил радостный ответ: «Приезжай. Дом Евангелия в Сан-Франциско широко открывает вам двери. Да хранит вас Господь в пути».

И я немедленно отправился в путь. Всю Америку проехал на своем автомобиле. Со мной была жена и мой сын — Вениамин.

В пути я смотрел на богатую страну и вспоминал дни своего странствования из Сибири. Мог ли я тогда мечтать, что через несколько лет буду жить в лучшей демократической стране мира, в самом лучшем ее штате — Калифорнии, в ее красивейшем городе — Сан-Франциско и быть членом благословенной церкви при «Доме Евангелия»!

Как непостижимы Твои пути, Господи!

Еще одна мечта осталась неосуществленной: встретить друзей по тюрьмам, пересылкам и лагерям, рассказать им о любви Христа к грешнику, о верности Его обетований, рассказать о спасении, которое Он дает каждому верующему. Хочется мне крикнуть громко, чтобы слышала вся Россия, крикнуть словами пророка Исаии:

— Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко!

1961—1962 гг.



СОДЕРЖАНИЕ

Странники и пришельцы	6
Сибирь ведь тоже русская земля	13
«За родину! За Сталина!»	16
Новые хозяева	23
Опять «Равняйся!»	29
На родной земле	34
Опять на запад	50
По тюрьмам и лагерям	71
Родина встречает	81
Новые знакомые	108
Омские лагеря	152
Побег	158
«Бежал бродяга из Сибири»	176
План созрел	197
Первая граница	212
Вторая граница	221
Третья граница	227
Здравствуй, Австрия!	238
Последняя глава	251